

---

---

Лариса ШУЛЬЦ

ЛОСКУТКИ  
И  
ОБРЫВКИ

Повесть

Этих фрагментов не воссоздам,  
так, прикоснусь, дотронусь...

*М. Щербаков. 1992*

Лета

Вдруг пробежало по душе ощущение-воспоминание последних минут перед дождем — я действительно почти физически почувствовала невероятную свежесть внезапного ветерка, запах предмокрых листьев, увидела пыль в уже исчезающих за черной тучей солнечных лучах, мелкие яркие искорки. Где-то на задворках сознания беззвучно прокручивается старый фильм. Пленка давно потрескалась, да и проектор не самый лучший, но иногда, внезапно, вне всякой связи с главной реальностью, кадры из этого фильма прорываются на основной экран и тут же исчезают. Кажется, я поняла — вернее, уловила, что это такое: это воспоминание ощущения себя за несколько минут перед дождем. В райцентре. В городе ощущение себя перед дождем было другим. Примешивался запах асфальта. А в райцентре был запах земли, навоза, цветов, животных. Не высохших еще после предыдущего дождя луж. На нашей улице все лето не просыхала огромная лужа возле дома полицаия Кузьмы. У него были две девочки, с которыми я играла иногда, в те годы, когда их отец сидел в тюрьме. Мы запускали парашютики, делали их из мягкой, тонкой коричневой бумаги. Не помню, для чего употреблялась эта бумага. Но парашютики из нее получались отличные. Концы чуть прозрачного квадрата связывались вместе, подбрасывались в воздух — и плыли, покачиваясь, на ветру, то взлетая выше, то плавно опускаясь. Мать девочек я не помню, да и их самих помню плохо. Одну звали Зина, имя второй — кажется, младшей — кануло в Лету. Потом вернулся их угрюмый, высокий и сутулый отец, и мне больше не разрешали к ним ходить..

---

Лариса Шульц родилась в Белоруссии. Окончила Минский институт иностранных языков. В 1971 году репатриировалась в Израиль. Живет в Иерусалиме. Работает программистом. Пишет прозу, стихи, переводит с иврита и английского, а также на английский. Несколько рассказов были опубликованы в журнале «Время искать».

НЕВА 2'2013

Название реки забвения впервые я прочитала в Подвигах Геракла. Это была желто-коричневая книга, на обложке которой красовался кудрявый бородатый богатырь в львиной шкуре, наброшенной на голое тело. Внутри книги были и другие изображения богатырей, некоторые стояли спиной, опираясь на копье, почему-то с голой жопой. Этот круглый мускулистый зад меня смущал до такой степени, что я отводила глаза. На одной картинке стоял кентавр Хирон. Его жопа, к счастью, была покрыта густой шерстью, да и вообще была лошадиной. Его почти тезка Харон переплывал Лету (вернее, Стикс, но Лета подходила больше), перевозя души в непроглядную темень Аида. А наша речка, наоборот, была голубой и светлой, поросшей незабудками нежнейшей голубизны, правда, на правом обрывистом ее берегу рос табак, терпкий запах и темная, почти черная зелень которого прочно связывались у меня с представлением о свалывшейся кентавровой шкуре. От нее обязательно должно было пахнуть табаком, а кое-где на ней были бы черно-рыжие следы ожогов. Подвиги Геракла я знала наизусть и всегда готова была их перечислить по просьбе маминых коллег-учителей, которые не могли налюбоваться на маленького кудрявого вундеркинда с огромными серыми глазами. Наверняка они и сами впервые слышали о Геракле от меня. Мама сияла от гордости за свое неземное дитя, возможно, только эти минуты в какой-то степени оправдывали для нее на редкость неудачное замужество. Но когда я подросла и хвастаться мной уже стало невозможно, пропало и это.

В число любимых и постоянно перечитываемых книг входили и «Приключения Незнайки» — крупная худая книга, на ее широких страницах было удобно вкраплять переводные картинки, переснималки на моем и мамином языке. Чудо этого действия уже, кажется, описано Набоковым, но какое мне дело? Из-под мутной, ничего не обещающей пленки, которую надо было усердно, но осторожно тереть мокрыми пальцами, появлялись немыслимо прекрасные, яркие цветы, небеса, птицы, бабочки. Счастье мое в эти минуты было таким же безграничным, как перед Новым годом, когда мы украшали елку и из коробки, бережно жившей в шкафу между кофточек, вынимались сверкающие разноцветные шары, длинные матовые сосульки, пучеглазые аляповатые совы. В течение года я время от времени вынимала эту коробку, желая опять почувствовать крепкий запах хвои, уколоться о мягкие иголки, проснуться молочным, мороз-и-солнечным, неповторимо новым утром первого января, когда все еще спят и весь мир отдан мне, чтоб любоваться.

Вставать раньше всех, предупреждать зари восход я любила всегда. Зимой в кухне волшебным светилась и потрескивала печь, которую мама растапливала чуть ли не в пять часов утра, в кромешной тьме, чтоб успеть и обед поставить, и блинчиков напечь на завтрак, и побежать на работу в твердых, узких, темно-серых перламутровых ботиках на пуговке, от которых у нее росла и натиралась косточка. Я спала с мамой, папа спал отдельно, но иногда утром он вдруг тоже оказывался в нашей кровати, и я ничего не понимала и не задумывалась. От мамы мне нужна была ее полная прохладная рука, к которой я прижималась перед тем, как заснуть, и в этом папа мне никогда не мешал. Он вставал тоже рано и часто точил свою острую бритву о солдатский ремень. Папа очень смешно брился, каждый раз по-новому намыливая лицо и выпучивая то одну щеку, то другую. Бритва употреблялась также для резки петуха, это бывало летом, петуха покупали в воскресенье на базаре и приносили связанного домой в большой плетеной корзине, вперемешку с яблоками «белый налив», маслом в большом росистом капустном листе и кульками черники. Перепуганной птице развязывали ноги и ставили на откорм во дворе. За неделю петух прекрасно осваи-

вался на новом месте, кукарекал в нужные часы и то и дело пытался взлететь, несмотря на веревку, привязывавшую его к дереву. Мог бы жить и жить... Но в следующее воскресенье папа особенно долго точил бритву, брал петуха за ноги и уносил к уборной. Венцом трагедии были необыкновенно вкусная куриная печенка, фаршированная шейка и утушенное в чугунной гусятнице почти до черноты объединение. Аромат и фантастический вкус жертвы могли примирить с мрачным фактом гибели вчера еще живой птицы даже самого закоренелого вегетарианца. Было ясно, что смысл существования петушка заключался в его съедении, а вовсе не в хрипловатозвонком кукареканье, не в блестящем косящем оке и не в пышном разнопером хвосте.

Кота, например, съесть было нельзя. Он жил сам для себя, позволяя нам только любоваться собой, иногда гладить и кормить. Крупный полосатый хищник без имени любил по вечерам ловить людей за ноги, бросаясь из под-лавочки на дворе и тут же исчезая, злорадно посмеиваясь в кустах над нашим испугом и проклятиями. Холодному зеленому блеску его глаз в темноте отвечал блеск голубых и оранжевых звезд. Вот это Кассиопея, а это Орион, говорил папа. А вот Вега. Ровный, густой свет, льющийся миллионы лет из яркой точки на черном небе, достиг моих глаз. Звезда была настолько прекрасной, что, если бы мне предложили полететь туда даже в виде заспиртованного образца земной жизни, я бы согласилась. Непредставимые расстояния, миллионы лет, чудовищные изменения, происшедшие во всем мироздании за то время, пока свет Веги летел до меня, наполняли мою душу пронзительной тоской и надеждой. На Луне темнели пятна морей, она плыла, покачиваясь, над высокими вишнями в соседском саду, и тень от вишен была до того четкой, что можно было различить даже маленькие, с еле заметным красноватым отсветом, тени вишенок среди листьев. Они свисали над нашим огородом, и по утрам я норовила нарвать вишен до того, как соседи — толстая, грубая Алена и ее злой муж — встанут и выйдут в сад и начнут лаяться, завидев меня. У них было так же много слив, на которых в мае, задолго до урожая, ночевали майские жуки, и стоило только слегка встряхнуть ветку, как жуки с тяжелым перепончатым стуком падали на землю. Те из них, которым выпал жребий стать моими пленниками, отбывали нелегкую повинность в спичечных коробках, где они тоскливо скреблись день и ночь. Утром я их вынимала, привязывала нитку к царапающейся лапке и давала жуку взлететь. Несчастное насекомое, несколько раз распуская и складывая затекшие крылышки, наконец радостно взмывало в воздух и тут же как бы спотыкалось и падало вниз, удерживаемое жестокой ниткой. А я махала нитью то вверх, то вниз, то сама кружилась вместе с жуком, и до чего же мне было приятно ощущать упругую вибрацию нити и слышать напряженное жужжание большого, толстого, неуклюжего создания. Если жук выдерживал эту муку, я в конце концов его отпускала и надеюсь, что в его членистоногой блестяще-коричневой душе не оставалось злости и обиды, и, поев наскоро сливовых или кленовых листьев, он начинал искать себе подругу или друга, если это была она, и к утру они уже были счастливой парой, прочно склеившейся остроконечными попками, к немалому моему недоумению.

Майские жуки даже больше, чем на сливах, любили устраиваться на кленах.

Вот майское невысказанное утро. Я бегу в парк, где растут молодые ярко-зеленые клены. Как описать неопишемую свежесть этого утра, когда вдалеке, даже когда уже не Первомай, играет и бухает первомайский оркестр, и холодок бежит за ворот просто от того, что эту музыку играли Первого мая с самого раннего утра, и там-там-там-там гремел ритм, и хоть в нашей антисоветской семье над символами власти

только насмеялись и никакого праздника мы не отмечали, но музыка играла, и бухал ритм, и свежесть утра была совершенно невероятной и сохранялась до конца месяца, и к холодку, бегущему за ворот, присоединялась радостно-звонкая, весело-прыгающая мелодия из кинофильма «Стрекоза»: «Чудный май, желанный май... ты от-ра-ду сердцу дай...» Я бегу в парк, залитый золотистыми одуванчиками. На секунду я останавливаюсь — не нарвать ли охапку терпко пахнущих солнышек и сплести венки, пачкая руки млечным соком? Но нет, это потом, а сейчас вот на этом клене — он какой-то особенно пышный и зеленый — наверняка тысячи жуков! Я трясусь ствол — и тяжелый коричневый дождь падает на меня, вокруг меня, начинает ползать и взлетать. Как их много! Сонные толстые жуки, шероховатые царапающиеся лапки, резкий старушечий запах. Под главными твердыми, плотными крыльями у них тоненькие, прозрачные, как комбинашки, подкрылья.

Я счастлива. Я и сейчас счастлива, когда пишу об этом.

## Огород

Огород наш был моим земным шаром, солнечной системой и даже Млечным Путем. Летнее утро начиналось с обхода всех владений, надо было заметить и отметить все новое, выросшее, расцветшее и поспевшее за прошедшие сутки. За домом, на северной стороне, росли мелкие незлобивые цветочки сиреневых и желтых тонов. Их скромная прелесть тихо, но упорно боролась за право расцвести и обеспечить потомство своему роду в мрачном каменноугольном папоротниковом лесу. Присев на корточки, я осторожно поглаживала жесткую поверхность папоротников, пытаюсь представить себе их предков, когда они были огромными деревьями, жили сотни лет и потом, медленно свалившись на землю, постепенно погружались все глубже и глубже, превращаясь в черный рассыпчатый уголь. Представить это себе было невозможно, и я отправлялась на поиски тыквенного стебля, подходящего для дудочки. Отрезав колючую полую трубку с большим разлапистым листом, я проделывала в ней несколько дырочек и начинала извлекать неожиданно чистые, с деревянным привкусом звуки. Весной же дудочки и свистки делали из сочных молодых веточек, блаженно-легко снимая с них влажную кору. В отличие от тыквенных дудок, эти свистки сохранялись надолго, но зато однодневность или даже одночасовость тыквы позволяла делать дудку каждый день, и почти все лето я царапала себе руки и губы об упругие, не очень острые стебли.

## Пианино

Музыкальная радиостанция на моем приемнике исправилась в смысле качества приема, и вчера я в полном упоении слушала «Довольно!» Баха. Пела, правда, женщина — я бы предпочла певца. Но голос был сильный, красивый, и все-таки не soprano. Потом, конечно, все испортилось: завели нечто современное на целых полтора часа.

Раз уж речь зашла о музыке, давай вспомним тот светло-солнечный, мальвовый и георгиновый сентябрьский день, когда нам привезли пианино. Черный сверкающий ящик осторожно, под мамины истерические моления ничего не задеть и не уронить внесли в дом и поставили под прямым углом к стене, разгородив тем самым комнату на две неравные части. Поставили специальный прямоугольный стул, откинули крышку. На внутренней поверхности ее золотом было написано «Беларусь». Я с тре-

петом прикоснулась к клавишам, они были тугие, плотные, полные изумительных звуков. К тому времени я уже умела играть по нотам простенькие вещи, и, быстро уловив, какую силу надо приложить, чтоб извлечь звук, я медленно заиграла «И мой сурок со мною». Жалобная мелодия неуверенно поплыла по комнате, папа сидел на диване и, прикрыв глаза, слушал любимую песенку, мама смотрела на меня, как на существо из иных миров. Инструмент еще не был настроен, играть я еще толком не умела, звуки были резкими и отрывистыми, руки мои то и дело спотыкались, но музыка, создаваемая мною, звучала на самом деле, у меня дома, в любой момент, я могу подобрать любую мелодию, могу разобрать любую вещь, даже «Лунную» сонату», неважно, как это будет звучать для кого-то постороннего, я и не буду играть для чужих, только для себя, чтоб не думать о пальцах, технике, выразительности, легато, аллегретто, какое это имеет значение, я слышу эту музыку так, как я ее слышу, я ее читаю — читаю с листа, упоенно, все новые и новые вещи, я езжу в город и каждый раз прежде всего бегу в нотный магазин, и покупаю, задыхаясь от волнения, то Листа, то Чайковского, то Шопена, вещи, которые я никогда не смогу сыграть так, как надо, и даже не приблизиться к более-менее приличному исполнению, но смотри выше. Я разбираю и играю прелестные маленькие пьески Рамо, Люлли, Грига. В европейской классической музыке есть множество крошечных жемчужин, которые никто не знает, кроме тех, кто учился музыке. Серьезные музыканты их не исполняют на концертах, не записывают на диски — почему? Кто знает. Может, просто никому в голову не приходит. А я тем временем играю часами, забывая обо всем. Музыка стала для меня такой же необходимой, как книги, даже больше, на музыку я откликаюсь мгновенно, точно знаю, что мне нравится, а что нет и почему. Музыка делает меня счастливой до сих пор.

## Георгины

Георгины... Красные, розовые, желтые, двухцветные, простые и лохматые, маленькие и большие — георгины цвели в сентябре в каждом дворе, вываливались из неловких объятий школьников, несших их в школу; по утрам, если ночью был заморозок, огненные цветы были покрыты седым инеем, быстро таявшим под лучами прозрачного прохладного солнца. Пылающим георгинам и их коричневым увядающим листьям торжественно и звонко аккомпанировали высокие тополя, желтевшие с головы до ног в густо-голубом небе. По тополиной аллее ехал, переваливаясь, грузовик-полупортка, в кузове которого хохотали и толкались шестиклассники, отправленные на картошку. Ветер летел через тысячи дорог, трепал плотно завязанные козыньки на головах девочек, на ухабах все падали друг на друга, и мальчики уже знали, что надо ухитриться и схватить какую-нибудь девочку за что угодно, а девочки — что надо, на секунду поддавшись и прижавшись к твердому мальчишечьему туловищу, тут же вырваться и негодуя сверкнуть глазами: «Эй, Колька, не лапай! отцепись!» Наверное, только я не участвовала в этой веселой оргии. Мне действительно не хотелось, чтоб меня лапали, и противен был пыльный воробьиный запах от редко мытых волос. Я крепко держалась за край кузова, чтоб не упасть, и, зажмуривая глаза от пыли, вдыхала холодный плотный ветер, с самого утра терпеливо ожидая конца дня, дороги назад и дивана, где остался раскрытым читаемый в Бог знает который раз «Таинственный остров».

## Диван

Беспечно маленькие дети  
По лесу темному бегут,  
За ними Золушка в карете..  
О сказки яблочный уют!

Диван продавленный, подушка,  
Где белка вышита крестом,  
Под боком кот, на стуле кружка  
С давно остывшим молоком...

Летит крылатых братьев стая,  
Солдат с войны спешит домой.  
Две феи — добрая и злая —  
Пока что заняты не мной.

Диван. Вот странно — я не помню, как выглядел этот диван, какого цвета он был и формы, хотя пролежала и просидела на нем так много лет. Продавленным он действительно стал в какой-то момент, а иногда из него неожиданно высовывалась большая злобная пружина с острым концом, так что садиться на него надо было осторожно, с уважением, как на норовистого коня. Устроившись же — особенно если удавалось заманить под бок кота. — я переносилась в какую-нибудь параллельную реальность, которая оказывалась не только в книгах, но и за окном, особенно поздним осенним вечером, дождь и ветер воют на улице, стараясь перевыть друг друга, ветки сирени и желтых простуженных георгинов бьются в раму, тени шастают по стенам и потолку, а дальше на улице, между корявых вишневых ветвей, раскачивается фонарь, если его еще не разбили. Свет его то ярко, судорожно вспыхивает, то пропадает, когда ветром лампочку заносит за столб. Я смотрю на мелькание этого мужественного светильника, он отчаянно борется с тьмой, совсем один, и ведь все равно его разобьют через день-другой, и пройдет много недель, пока не придет косолапый монтер, и не залезет в страшных кошках на занозистый столб, матюгаясь и сплевывая, и не вкрутит новую маленькую голенькую лампочку, чтоб она тоже билась и содрогалась одна на всем свете, когда опять приползет тяжкая низкая туча и ветер с дождем завоют, стараясь перевыть друг друга.

## Снег

Снег выпал только в январе... Первый снег иногда выпадал ночью, и уже сквозь закрытые, крепко спящие глаза я чувствовала, как ровный белый свет покрывает коричневую бугристую землю, бурые лохмотья уцелевшей на огороде картофельной ботвы, покосившийся нахохлившийся забор. Снег сглаживал все ямы, ухабы и рытвины на взъерошенной дождями, взрытой свиньями, пропечатанной случайным трактором улице, и утром, перед рассветом, тускло-желтое пламя керосиновой лампы еще больше тускнело и съезживалось перед льющейся из окон мягкой белой рекой. Кот выскакивал во двор и тут же возвращался, недоуменно встряхиваясь, на его шерсти блестели искорки тающего снега. Папа надевал валенки и галоши и выходил протаптывать дорожку от двери до калитки. Из то и дело открываемой двери,

из кое-где отставшей бумаги, которой заклеивали на зиму оконные рамы, в дом врывался холодный, звонкий, румяный, как само слово «зима», воздух, он проник в пыльные паутинные закоулки за неудобным скрипучим шкафом, взлетал на печку, срывая с луковых связок тонкую неуловимую шелуху, неслышно пробирался под ночную рубашку, внезапно обжигая нежную, размлевшую за ночь кожу на бедрах и животе. А на востоке, за высокой, густой дикой грушей, своевольно росшей на соседском огороде, сквозь морозную сверкающую пыль медленно потягивалось широкое заспанное солнце, то пропадая за ветками, то распластываясь во всю свою огненную величину, и вдруг оказывалось высоко над крышами, ярко-желтого цвета — ночь кончилась, установился ясный, ослепительно-холодный первый зимний день.

## Юбка

В автобус вошла женщина, на ней была черная юбка в мелкий белый горошек. У меня тоже когда-то была такая юбка — но когда? Я помню пышные красные штанишки в белый горошек, с широкими ляжками, их сшили, когда мне было года четыре, и мама водила меня на учительскую конференцию, и все ахали и любовались, и мама была счастлива, она надевала в те дни тупые туфли на очень высоких каблуках и крепдешинную блузку, серо-лиловую, с большими розовыми цветами, она держалась очень прямо и громко говорила: «Смотрите, какую юбку надела Мария Борисовна, с такими деньгами не могла купить хорошую юбку? Я бы в такой юбке на улице не вышла». Марии Борисовне мама завидовала больше, чем кому-нибудь другому, у Марии Борисовны был муж Савелий, плотный, коротко подстриженный хам, дом за высоким беспросветным забором ломился от добра, во дворе постоянно лаяла и выла на цепи большая короткошерстная собака. Мария Борисовна, туповатая учительница младших классов с нежным белым лицом, действительно одетая в какую-то неотглаженную юбку, краснела от злости и обдумывала план мести коллеге-змее, а высокий толстопузый заведующий районо, в надежде на чей слух и были сказаны ядовитые слова, смотрел, посмеиваясь, на красивую задорную маму и тоже обдумывал. Папа неловко мялся в стороне, делая вид, что ничего не слышал, но по дороге домой он скажет маме на идиш, чтоб я не поняла и чтобы лучше выразить свое возмущение и пережитый конфуз: «Уй, а бхейме!» (вот корова!), но в голосе его прозвучит и восхищение. Безумству храбрых поем мы славу. Мама, не обращая на него внимания, будет наслаждаться произведенным эффектом. Мария Борисовна посрамлена, опозорена, но на следующий день она опять скажет своим тонким детским голоском: «А Савелий купил мне новый сервант — сервиз — отрез — диван»; Савелий-самосвал непрерывно сваливал добро прямо в ленивые вялые руки Марии Борисовны; и немного утешилась мама, только когда Савелий отдал свою четырнадцатилетнюю дочь Аню, худенькую веселую отличницу, в страшное гинекологическое училище, а потом выдал ее замуж за вдовца с двумя детьми. Она приезжала домой, потухшая и скорбная, и лицо Марии Борисовны превратилось в порыжевшую белую хризантему. Она по-прежнему сообщала товаркам, что Савелий купил новый сервиз, но губы подруг беззвучно складывались в такие слова, какие они сказали бы, если бы читали Достоевского: «А Аня-с?»

## Стадо

Есть ли сегодня то состояние души, при котором поднимается завеса, открываются шлюзы, как еще назвать — и идет. Ледоход, поток, что угодно. Нет, нету. Вялое дрожание. Обрывки слов, даже не слов. Просто обрывки. В голове негромко звучит какой-то древний вальс. Та-та-та-таа — та-ти-та-та — ти-та-та — таа-таа-таа... На этот ритм ничего не нанижется, хоть убейся. Нет, лучше не тратить место.

Хоть ты пиши действительно какими-то обрывками — что-то вроде ум — страм-бам-карыттише — несапаргу... Это мысли? А черт его знает, может, и мысли. Может, прежде чем сложиться в четкие, что называется, членораздельные слова или хотя бы слоги, в голове происходит некое броуновское движение, что ли, вялое дрожание на фоне — ну хотя бы Первого концерта Чайковского, который транслировали пару дней назад по телевизору в исполнении обливающегося потом Баренбойма, и оператор с наслаждением давал крупным планом его совершенно мокрое лицо, капли падали с носа, с белесых бровей... Меня всегда занимал этот вопрос: что будет делать пианист, если у него вдруг зверски зачесется пятка? Или нос? У Баренбойма наверняка страшно чесался нос, кажется, он даже усиленно моргал и двигал кожей на лбу, чтобы как-то это компенсировать. Впрочем, ему не впервой. В какой-то момент, когда Петр Ильич милостиво дал ему полминуты перерыва, он вынул большой белый платок и вытер лицо. Оператор тут же бросился на него, надеясь, наверное, увидеть первые капли нового, свежего пота, но концерт уже несся к концу, еще аккорд, и еще аккорд, и все — аплодисменты, овации, все встают. Я тоже крикнула: «Браво!»

Вот и расписалась немножко. Видно, нужна своего рода разминка. И уже клубятся в голове картинки... Первый концерт Чайковского в исполнении долговязого плотно-кудрявого юноши, безграмотно названного по-русски Ваном Клиберном. Тяжелые белые облака, медленно ползущие по оцепеневшему от зноя небу. Эфиопская жара, говорит папа. В доме, однако, держится спасительная прохлада — окна, выходящие на юг, завешены кустами сирени и жасмина. Только горячие зайчики сияют на полу. Медленно тикают часы, тоже оцепеневшие, кажется, вот-вот остановятся. Я пристально смотрю на минутную стрелку, надеюсь уловить момент ее движения, но она стоит совершенно неподвижно, уже глаза у меня болят от напряжения, но я все смотрю, текут слезы, а я смотрю, но проклятая стрелка ни с места, я больше не могу выдержать и быстро моргаю, и за этот неуловимый миг стрелка насмешливо перепрыгивает на следующую минуту. Хоть ты лопни. Часы продолжают мерно тикать, жара на дворе, а в доме прохладно. Какое счастье — быть десятилетней. Приближается вечер, подул какой-то робкий ветерок, пошевелил листья и улегся опять. Солнце, поперек себя шире, сильно краснеет и боком опускается за Петров сад. Далеко, в самом начале улицы, возникает столб белой пыли. Идет стадо.

Та — ты-ы — та-таа...

Вот оно идет, прямо перед моими глазами — я бы хотела висеть на калитке, чтоб, задыхаясь от густой пыли, вдыхать тяжелый, кислый аромат раздутых вымен (так?), коровьего говна, падающего влажными черными блинами на землю, — корова при этом даже не останавливается, только величаво и неторопливо приподымается тонкий грязный хвост — и плюх. Заглядывать в большой серьезный коровий глаз, замирать от ужаса, если острые, широко расставленные рога вдруг повернутся ко мне — сколько страшных рассказов толпится у меня в голове о том, как корова забодала мальчика — всегда мальчика, девочки сидят дома, когда стадо возвращается домой, — вот и мне не разрешают, и я наблюдаю эпическое шествие из окна, и между мной и прекрасно-чудовищной действительностью стоит прозрачный непро-



бываемый фильтр, приглушающий великолепное мычание, смягчающий первобытную вонь, оберегающий меня от пыли. Зато не забодают.

Та-аа — таа -ти-та-а-а...

Но вдруг подкрадывается окрепший ветерок, с крыш срываются ласточки и начинают описывать сумасшедшие кривые, чуть ли не касаясь белой грудкой земли. Тревога! Снимать пересохшее белье, оно осмелело, вырывается из рук, взвивается вверх и падает, зараза, прямо на землю. Ввести велосипед в сарай! Что еще на дворе может промокнуть, где-то на траве валяется книга — из библиотеки! Сейчас хлынет дождь! Скорей, скорей! Какой-нибудь половик, блюдец с недоеденным куском хлеба со шмальцем, солью и луком, забытая на огороде косынка — все равно что-нибудь останется, промокнет насквозь и будет обнаружено завтра, простуженное, кашляющее, несчастное. Все изменилось, и как быстро! На голову падает первая капля, большая, мягкая и тяжелая, как крупная слива, и вот уже разверзлись хляби, все, ничего больше не спасешь, сиди и смотри, какой сильный дождь, давно такого не было, но пора уже, пора, а то все пересохнет, огурчика не найдешь в огороде, придется все покупать или поливать, легко сказать — поливать, это ж сколько ведер надо наносить, целую бочку, в колодце воды не хватит, сосед не даст, ой, а клог аф зем. Индрерд эм ан орт.

Та-та-ти-тата...

## Идиш

Мама с папой говорили на идиш, если не хотели, чтоб я поняла, о чем речь. Зи вилл шлофн — это когда я капризничаю. Папа, что такое шлофн? Ай, ничего. Просто такое слово. Будешь блинчики? Не хочу. Зи вилл шлофн. Зоктер. Зокци. Зогих. Зогн зей. Зоктер Семен — а я вам приказываю писать план! Зогих — вы меня не заставьте, я на вас в газету напишу! Папа, давай сыграем в шашки. Зи вилл шлофн. Не хочу я шлофн!

Растерянно-умиленные лица — она понимает! Нет, я ничего не понимаю, просто слово «шлофн» незаметно стало таким же простым, как спать или пить, вот и все, а как это произошло, черт его знает. Само. Сначала слово окутано плотным прозрачным туманом, внутри же оно черное, торчит в потоке речи, как большой камень в мелкой реке, приходится его обходить, оно скользкое и неудобное. Постепенно туман начинает расходиться, слово светлеет, сливается с рекой, и речь течет свободно, беспрепятственно — до следующего какого-нибудь а финстере йор.

«Кусмиринтохес», — говорит мне Мишка и тут же отбегает подальше и внимательно следит за моими действиями. Это еще что такое? «Кусмиринтохес!» — радостно вопит он, еще больше радуясь тому, что я, очевидно, этого слова не знаю. Я даже не понимаю, на каком это языке. Потом я различаю тохес — это мне знакомо. Что-то про жопу. Интохес — ин тохес — в жопу. В жопу? Что в жопу? «КУСМИР ИН ТОХЕС!» — победоносно кричит уже и Сашка, смуглый юный негодяй, он сидит за мной и все время дергает меня за волосы, а я по совету «Книги для водителя» стараюсь не реагировать. Один раз не реагирую, второй, третий... «Книга для водителя» права — Сашка теряет ко мне интерес, и в результате, когда я наконец, позже всех остальных девочек пойду в первый раз на танцы, никто, ни один мальчик меня не пригласит, и я простою, стараясь не плакать, весь вечер у стены — это в четырнадцать-то лет! — и не выдержу, убегу одна в утешительно-морозную хрустящую одинокую ночь, буду бежать домой и громко реветь. Но это не сейчас. Сейчас они весело кричат мне: «Кусмирин тохес», и вдруг я понимаю. Поцелуй меня в жопу. Это мне известно. А он ей говорит — поцелуй меня в жопу. Пусть поцелует. Так говорят про

врагов — директора школы, заврайоно. Но при чем тут я? При чем тут Мишка? Ничего не понимаю. И у папы не спросишь. Обидеться, что ли? Но на что? Они не хотят меня обидеть, кажется. Это они меня дразнят, но так весело и беззлобно, так залиvisto выкрикивая смачное сочетание звуков, что меня просто разбирает смех. И я смеюсь. И они смеются тоже. И больше это не повторяется.

## Баня

Длинное, низкое деревянное строение с маленькими, до половины замазанными белой краской окошками под самой крышей. Раз в две недели зимой, весной и осенью мы ходим в баню. Летом моемся в речке. Лет до девяти меня купали дома в корыте — я была очень маленькая и свободно помещалась в большой деревянной логани. На керогазе кипятили бак воды, осторожно кастрюлями переливали воду в корыто на печке, и мама меня мыла то ли сидя, то ли на корточках — точно не помню. Процедура наверняка была жутко неудобная и довольно опасная; если бы мне пришлось купать моих детей в таких условиях, я бы вся измучилась. Но мама не ныла, а, наоборот, весело подчеркивала сонную теплоту печки, мороз на улице, чистоту белья, пушистость полотенца — оно как раз было довольно жесткое, но у мамы все равно получалось пушистое и мягкое; и весь тяжелый труд этот светлел и становился радостным и приятным. Папа деловито носил воду, подавал то мыло, то мочалку, то полотенца, и наконец меня, укутанную уже в одеяло, розовую и чудесную, переносили в кровать, бережно укрывали и подтыкали, чтоб нигде не дуло — а в доме дуло, ух как дуло! Даже слово было — дувец, он сидел где-то за окном на дереве и дул, щекастый и холодный. «Кругом дует, а я сижу, як цар!» — со смехом повторяла мама слова некоей Татьяны, маминой попутчицы и няньки во время эвакуации, Тамара эта откармливала за мамин счет свою толстую тупую дочку Дашку, а наша Аля худела и затихала, как маленькая мышка. Мокрые волосы приятно холодели, под одеялом было просто блаженство, и я забиралась под одеяло с головой, открывала глаза и оказывалась под розовой водой, в розовой пещере, снаружи едва доносились голоса. Когда кончался воздух, я выныривала наружу, потная и запыхавшаяся, и теперь уже устраивалась поудобнее, чтоб спать. Глаза сами собой закрывались, кровать подо мной поворачивалась, казалось мне, то к северу, то к югу, под веками расплывались радужные круги и стрелы, и снизу вверх поднимались собачьи, человеческие, неизвестно чьи морды. Как стрелку на часах, так и здесь я много раз пыталась уловить волшебный миг перехода в сон, и так же безуспешно. Вот я еще не сплю, все вижу и слышу, а вот уже мне снится сон, а вот уже я просыпаюсь. Каждый вечер манила меня тайна перехода в сонное небытие, я тарасила глаза, чтоб подольше не засыпать, надеясь как-то обмануть Морфея и зрячей проскользнуть в его туманное, мурлыкающее царство, но где там — я опять открываю глаза, легкий сон тает, как туман под солнцем, недолго еще летают последние мягкие хвостики и кисточки — и все исчезло, уже утро, надо вставать. Кто знает, может, сегодня вечером удастся его поймать.

Ну что дальше? Что дальше, моя тихая, но упорная, как омут, память? Десятки лет ты хранишь эти картинки, постоянно мельтешишь ими у меня перед глазами, требуя — чего? Высказать? Рассказать? Зачем?

Итак, баня. Раз в две недели. Обычно после обеда, когда небо еще/уже розовое, и морозец приятно пощипывает щеки, и снег хрустит — хруп-хруп-хруп, и возле чьего-то забора стоит ленивая задумчивая лошадь и лениво-задумчиво жует сено. От нее

пахнет хвостом. Всю жизнь я хочу иметь хвост. Не любой. Пушистый, толстый и не очень длинный. Я с завистью смотрю на кошек: кошачий хвост — это для меня идеал. Какое бы это было счастье — свернуться калачиком и укрыться своим собственным пушистым, пахнущим хвостом. Я думаю, что люди превратились в людей главным образом потому, что у них не стало хвоста. И всей прочей шерсти тоже. Представьте себе — рождается младенец — неважно, какой породы — без хвоста и без шерсти. Абсолютно беспомощный. Уязвимый, как муха. Любой сучок царапает его до крови. От малейшего ветерка ему холодно. Обезумевшие, ничего не понимающие родители не знают, что делать, они судорожно прижимают его к своей груди, обнимают его своими мохнатыми неуклюжими лапами. Он скоро умирает. Рождается новый. Опять та же самая история. В какой-то момент, то ли случайно, то ли что-то поняв своими мохнатыми неуклюжими мозгами, мать набрасывает на дрожащего от холода младенца кучу сухих листьев и ложится рядом. И он затихает, перестает дрожать и вот уже ищет цыцку. И выживает.

А потом он, Господи помилуй, начинает что-то говорить!

Бедные родители. Я их так хорошо понимаю. Вырастает этот сопляк, становится на задние ноги и смотрит на предков свысока. Как же — он все умеет! Они лезут на дерево, чтоб дотянуться до листьев, а он подобрал палку и, стоя на земле, зацепил высокую ветку и подтянул к себе. Они даже не в состоянии понять, что именно он сделал, только ошеломленно смотрят, как он уплетает свежую зелень, не сдвинувшись с места. Они руками или ртом пытаются поймать лягушку или ящерицу, а он уже сообразил, что можно бросить камень. И при этом все время что-то говорит! Вот зануда! Да иди ты, понял, к чертовой матери, ты не наш, ты уже большой, оставь ты нас в покое на старости лет, вот наказание, уходи скорей, баба вон опять рожать будет, может, на сей раз повезет, нормальное что-нибудь родится. И он уходит — да пошли вы туда-то, дебилы несчастные, сидите в своей норе, плодите себе подобных, а я найду таких, как я, не может же быть, чтоб таких, как я, больше не было, мы еще посмотрим, кто кого переборет. И переборол.

## Папа

Скоро надо ехать в супер — можно вспомнить продмаг. Тусклый свет, безрадостные витрины и прилавки. Синий тощий творог, серая рыба, камбала или нототения, неожиданно оказывавшаяся необыкновенно вкусной, поджаристой, тающей во рту. Да и унылые консервы не так уж плохи, даже страшенькая, черная морская капуста, остро пахнущая йодом и невероятно полезная, как говорит папа. А папа знает все, особенно то, что касается здоровья. Спокойно, тихо, незаметно папа достает немецкие книги, получает откуда-то статьи про йогу, узнает новейшие сведения о правильном питании, диете, голодании, и все это пробует тоже спокойно и почти незаметно. Иногда голодает по две недели, при этом сильно худеет и чернеет, но упорно продолжает голодовку. Без всяких гуру или учителей занимается йогой, терпеливо заставляя свое немолодое тело цепенеть в позе лотоса, собаки, кобры. И постепенно исчезает спондилез, крепнет сердце, даже загадочная перистальтика начинает работать вполне удовлетворительно. Кажется, что иначе и не бывает — если у человека обнаруживается какая-нибудь проблема, надо не только ходить к врачам и глотать лекарства, надо изменить образ жизни, подыскать правильные упражнения, правильное питание — и чуть ли не любую болезнь можно вылечить или хотя бы ввести в приемлемые рамки. Все так просто, так верно. Немного самодисциплины — и все. Мне и в голову не приходит, что папа относится к редчайшей породе волевых, спо-

койных и разумных людей и что для многих других эти простые решения совершенно невыполнимы.

## Гэндзи

Нежный и ласковый Гэндзи. Изящная жизнь, не лишенная горестей и страданий, но вся пронизанная маленькими радостями — от луны, затянутой туманной пеленой, от рукавов, не просыхающих от слез, от очертаний женской фигуры, украдкой увиденной в прорези занавеса, от разноцветной, окрашенной в нежные дозволенные цвета бумаги, на которой написаны задумчивые пятистишия... Обладательнице такого внимательного глаза, пожалуй, и страдать некогда. Кроме смерти любимого существа, вряд ли что-нибудь может заставить ее загрустить настолько, чтобы перестать замечать лиловые, сгущающиеся к концам шнурки. Даже слезы, льющиеся непрерывно, прелестно заливают прекрасное лицо кавалера, и кто знает, может, для этого и льются или же описываются. Или и то и другое. Когда все вокруг прежде всего красиво или некрасиво, другие душевные движения как бы ступеньются, теряют первостепенность. Что важнее — горюет герой или ликует, или в каком случае его красота больше потрясает? Можно ли горевать, зная, как очаровательно при этом твое лицо?

## Галя

Одними задачками не проживешь, сказала мне Галя, моя более-менее подружка в старших классах. Скорее, это я была ее подружкой, она меня выбрала в основном для того, чтоб списывать те же задачки, а там и привыкла, привязалась и, кажется, даже полюбила свою странную спутницу. Я же не очень охотно позволяла ей это. С одноклассницами мне было невыносимо скучно, их единственный и непрерывный интерес к мальчикам, танцам и нарядам я разделять не могла. Но будучи девочкой покладистой и немного из этнографического интереса, я ходила к Гале в гости, когда она меня приглашала, и наблюдала ее сборы на вечеринку: энергичную, тщательную глажку платья, долгое стояние перед зеркалом, внимательное превращение себя из симпатичной девчонки в сияющую принцессу. Галя точно знала, какая блузка подойдет к синей или черной юбке, почему в пятнадцатиградусный мороз надо надеть легкие туфли-лодочки и как стоять, легонько покачиваясь, возле клуба, чтоб каждый, спешащий мимо парень замедлил шаг и пожалел бы о том, что кудрявая девушка в красивом недорогом пальто ждет не его. Рядом с ней я чувствовала себя неуклюжей гусеницей. Даже если бы я очень захотела и постаралась, я никак не смогла бы сравниться с ней, я просто совершенно не знала, как это делается, да и желания особого у меня не было — лезть вон из кожи, чтоб встречаться с прыщавым Ленкой, грубияном Сашкой или молчаливым бесцветным Вовой, мне было незачем, а просто так привлекать внимание мальчиков, ради самого процесса — этого во мне не было совершенно, я их скорее боялась, этих мальчишек, их еще детская, непонятная мне похотливость пугала меня и вызывала отвращение. Когда мне было восемь лет, я немножко дружила с пятнадцатилетним слегка придурковатым Леней, сыном одной из учительниц, мы иногда играли в шашки. Однажды Леня, который жил с матерью в квартирке в здании школы, окликнул меня, когда я проходила мимо их двери. Я вошла в комнату. Леня лежал в кровати, лицо у него было красное и натужное, рук не было видно. «Иди сюда, иди сюда», — глухо подозвал он. Я подошла было к постели, даже хотела сесть, но вдруг мне стало так страшно, что я, не раздумывая, пулей выскочила из комнаты. «Лорка, Лорка, — кричал мне вслед Леня, — куда ты, не бойся,

иди сюда!», но я летела, не помня себя, к папе в кабинет и. вся дрожа в поту, только и смогла выдохнуть — Леня... Папа, наверное, подумал, что-то ужасное, отчего я удра-ла, произошло на самом деле, он принял какие-то меры, говорил с матерью идиота, и вскоре они куда-то исчезли. Но на самом деле не произошло решительно ничего, и я так и не знаю, какой инстинкт меня вышвырнул тогда на двор. Я долго думала, что Леня хотел меня побить или даже задушить, об изнасиловании и вообще о сексуаль-ных отношениях я не знала абсолютно ничего. Но красное, какое-то выпученное лицо пятнадцатилетнего жирного дебила отпечталось в моей памяти навсегда.

В тихий, светлый осенний день Галин отец, незлобивый подвижный пьяница, умер от разрыва сердца. Их всегда шумящий, как самовар, дом, оцепенел от не ожи-данности и горя. Мучительный приторный запах встречал идущего к дому еще на улице и надолго оставался в сумке, в карманах пальто, на рукавах. Неживой человек лежал на столе в узком гробу, вокруг него стояли мрак и чудовищный холод небы-тия. Зеркала и фотографии на стенах были занавешены безнадежными черными тряпками. Мать Гали медленно и беззвучно передвигалась по комнате, сама уже по-чти не существующая. Откуда-то доносилось негромкое беспомощное всхлипыва-ние. В воздухе над гробом висела прозрачная смерть.

Через день Галиного отца хоронили. Покрывившееся кладбище было засыпано легкими сухими листьями. Противно фальшивил и не в такт бухал подвыпивший оркестр. Люди негромко разговаривали о своем: «А корму кабану ты задал?» Прочи-тали по бумажке несколько речей и начали осторожно опускать гроб в могилу. Мать Гали вцепилась в дочкино плечо. Вот и тебя, и твоего папу, сказала мне смерть. В животе у меня завязался тяжелый канатный узел, и неожиданно для самой себя я зарыдала в голос, оплакивая и хороня и Галиного отца, и мать, и своих маму и папу, и себя, и всех людей на земле, сегодня живых и веселых, а завтра оцепеневших, мер-твых, мертвых, мертвых... Смерть смотрела на меня, серьезно, задумавшись, потом пожала плечами и отошла. Могилу уже засыпали, люди начали расходиться. Я побре-ла домой, инстинктивно пытаюсь отвлечься и забыть. Когда-то давно, вчера или позавчера, многие вещи меня сместили, радовали и возвращали хорошее настроение: толстый кот, осторожно пробирающийся по забору, большая апельсиновая тыква на крыше, облако-верблюд... Но в этот день перед моими глазами опять и опять опу-скался в могилу гроб с бледной куклой в черном костюме, и в ушах неотвязно сипело «таам-там-там-там» похоронного оркестра. Смерть тащила где-то рядом, ее омер-зительный запах не утихал еще несколько дней. Потом все прошло.

Летом следующего года, июньским сверкающим утром, меня внезапно, как кап-кан, охватил знакомый невыносимый запах. Смерть опять появилась где-то совсем рядом. Мелькнуло желто-серое неподвижное лицо Галиного отца, безжизненно заиг-рал оркестр. Адское зловоние пронизывало пространство дома, двора, сада, даже от кота пахло гробом. В ужасе, не понимая, что происходит, я металась по дому, пытаюсь найти источник запаха, но везде пахло одинаково. Наконец мне удалось ощутить, что смрад сильнее всего между диваном и этажеркой, и в результате удесятеренного приноживания с закрытыми глазами, выключенным радио и запретом на разгово-ры, мой нос уткнулся в книжную полку, где стояли томики Лескова, Некрасова и Якуба Коласа. За ними, тесно прижавшись к задней стенке этажерки и свернувшись в калачик, лежала огромная черная крыса, рядом с ней плоско стояла смерть. Блед-ный папа вспомнил, что не так давно он разложил там и сям кусочки хлеба со сно-творным, надеясь, что мыши, поев, уйдут навсегда спать в свои норы, но эту крысу,

вероятно, сон сморил прежде, чем она добралась до дома, и, устроившись на этажерке — и почитав перед сном, уже была в силах сказать я: она задремала навеки за пожелтлыми сокровищами человеческого разума. Какая прекрасная смерть! Чем заслужила такой достойный конец довольно-таки отвратительная черная крыса, была ли она праведницей при жизни, или праведницей была некая чистая душа, которая наверняка при жизни помучилась всласть, но вот после смерти наконец удостоилась, превратившись в черную крысу, безмятежной, легкой кончины, совсем как те жители счастливого века — или острова — где-то у греков, которые не старели и в конце, не хварэушы, не балеушы, тихо, блаженно засыпали... Крысу и примкнувшие к ней книги выбросили, полку помыли, побрызгали самым отчаянным одеколоном, имевшимся в доме, и мрачный, больной аромат наконец нехотя отступил, и душа зажила, и остались только память да маленький рубец.

\* \* \*

Прежде всего — небольшая разминка. С одной стороны, я переполнена материалом, но с другой — чувствую себя, как цветок, которого залили водой сверх меры. Вспомнилась и начала преобразовываться в слова моя дружба с Изей, еврейским мальчиком, который жил на углу нашей улицы и безымянного переулка. Мои родители одобряли мою дружбу с ним, в противовес общению с Ленкой: во-первых, та была гойка, во-вторых, ее отец был неизвестно где, может быть, даже в тюрьме, в-третьих, у нее была противная привычка: сидя, ерзать на заднице, опираясь на одну руку, и родители боялись, вероятно, что за этим кроется какое-то сексуальное неприличие. Изя же был вполне обыкновенным пацаном, и странно в нем для меня было только то, что он все время носил вышитую бухарскую тубетейку, а мать его не снимала черного платка даже дома и часто читала небольшую черную книжечку. Тубетейку, мне объясняли, то чтоб не простудиться, то чтоб не перегреться, платок не объясняли никак, и я вскоре привыкла и больше не спрашивала. С Изей мы часами играли в лото, где мне больше всего нравились толстенные, вкусно пахнущие клеем и деревом бочоночки с яркими красными цифрами, а сама игра была малоинтересной, и в пьяницу — так у нас называлась карточная игра, когда участникам раздают по семь карт из тщательно перетасованной колоды, каждый выкладывает по одной карте и тот, чья карта сильнее, забирает карту противника, и так пока все карты не перейдут к одному игроку. Игра эта основана на полной случайности, счастье много раз переходит из рук в руки, иногда у меня оставалась только одна карта, но у Изи оказывалась карта послабее, и весь ход игры менялся в мою пользу, но все же неизбежно наступал окончательный перелом, и кто-то оказывался в выигрыше и победоносно потрясал целой колодой. Меня это неизменно поражало, и дома я тоже часто играла в пьяницу сама с собой, безуспешно пытаюсь понять превратности судьбы.

Со стороны переулка Изиной соседкой была Богдана — страшная черная баба-яга, ненавидевшая всех, а детей особенно. В толстенных очках, за что мама прозвала ее Слепундрой, она целыми днями, бормоча, копошилась в своем огороде, как огромная черная курица, разбрасывая навоз крепкими лапами в холодных бахилах и клюя землю большим толстым носом. Ранним летом Богдана пожинала плоды своих неустанных трудов — у нее вызревали первые в райцентре огурчики, колючие, хрустящие, с желтым мокрым цветком на носу и поросычьей завитушкой на кончике. Огуречик, огуречик, не ходи на тот кончик, там Изя-Лорка-Мишка-Додик живет, тебе хвостик отгрызет, — пели мы, дразня друг друга. Слепундра продавала свои огур-

чики на базаре, и, стоя за прилавком, она была похожа на гигантскую перезревшую грушу с неравномерно выпирающими боками, и ужасно хотелось приделать к ее голове с кое-как заколотыми черными с проседью волосами крепкий кривой хвостик с маленьким набалдашником наверху. Огурцы у Богданы появлялись даже раньше, чем у нас, но ненамного. С начала июня я каждое утро тщательно проверяла огуречные грядки в поисках первого вестника. Крупная роса покрывала звездчатые шероховатые листья, сверкая в лучах низкого еще солнца желтыми, красными, голубыми искрами, а иногда, под каким-то неуловимым углом, капля вспыхивала небывалым оранжевым светом, и сердце мое счастливо ухало и сжималось, и ноги гудели, как провода. Первый огурчик возник совершенно неожиданно — еще вчера я находила только глупые цыплячьи цветочки, не было ни одной, самой крошечной завязи, и мама уже сетовала, что все огурцы окажутся пустоцветом — и вдруг среди плотных усиков и стеблей я замечала нечто чуть побольше и позеленее, и это действительно был новорожденный огурчик, пахнувший сияющим радостным утром, мокрый, весь в смешных пупырышках, крепко держащийся за ласковый материнский стебелек. Преодолевая сильное желание съесть его тут же, не помыв, вместе с приставшими к нему крошками влажной земли, я бежала в дом, и мама с папой радовались не меньше меня и самому огурчику, и моей радости, и мама тут же делала салат из редиски, зеленого лука, огурчика и сметаны, вкусный и свежий и незабываемый.

У Изи, как и у всех, тоже были большой огород и сад с вишнями, яблонями, грушами. Мы часто лазили на деревья, я была маленькая, цепкая и осторожная, как кошка, а Изя просто лез вслед за мной, а иногда и совсем не лез, а смиренно сидел внизу, ожидая, пока я, замирая, пробовала тонкие вишневые ветки или искала сучок покрепче, чтоб поставить ногу. Я очень боялась упасть с дерева и ободрать кожу. Кроме страха боли и последующего лечения йодом, я боялась столбняка. В журнале «Здоровье», который мы получали в течение многих лет, регулярно появлялись статьи о столбняке со страшными подробностями, и несчастным героем этих историй обычно был мальчик моего возраста и поведения. Он бегал босиком, наступая на ржавые гвозди, падал с деревьев, обдирая ноги и руки, копался в земле, где торчали коварные железяки, — и через неделю-две на месте ранения, даже если его промыли, смазали йодом и подули, появлялась припухлость, подскакивала температура, на лице застывала кривая неподвижная улыбка, тело ребенка сотрясали страшные судороги, и чаще всего он умирал. Напуганная, я тут же сообщала родителям обо всех более-менее серьезных травмах, наносимых мне природой, и они уже принимали решение — делать ли мне прививку от столбняка. Но однажды зимой меня укусил чужой кот.

Укус кота относился к другой категории — бешенство. В «Здоровье» о бешенстве тоже писали, хотя не так часто, как о столбняке, и подробностей болезни приводили меньше, зато много говорилось о Луи Пастере и о том, как до его открытий крестьян то и дело кусали бешеные волки. Процедура была более сложной: надо было провести серию уколов в живот, чуть ли не двадцать, а виновника следовало поймать и исследовать его мозг. Если я расскажу о случившемся, переполох поднимется совершенно немыслимый. Кота надо будет изловить, но как, где? Кот неизвестно чей, сами мы его поймать вряд ли сможем, да и не похож он на бешеного, но чтоб проверить его мозг, его придется убить, а если окажется, что он здоров, то как же тогда? Это был крупный темно-серый полосатый зверь, он появился в нашем огороде, подошел на мой зов, но когда я попыталась его погладить, впился мне в руку острыми мелкими зубами. Откуда-то мне помнилось, что бешенство проявляется у кошек и собак в течение двух недель, и я решила проследить за котом и ничего не говорить папе.

Каждый день я подолгу ходила по покрытому гладким снегом огороду, оставляя большие следы от валенок, в надежде увидеть кота живым и здоровым. Каждый день я смотрела на быстро заживающий укус на руке и гадала, означает ли это, что кот вполне здоров. Если я не видела кота день-два, страх начинал царапать мне внутренности, и тоскливая боль сопровождала мысли о возможном ужасном конце. Постепенно я погружалась в какой-то густой туман, даже голоса людей уже слышались мне как будто издали. Я думала о горе родителей, сестры, даже одноклассников, о том, что меня больше не будет никогда, о желтом скелете в могиле, я примеряла на себя смерть, и временами мне казалось, что меня уже сейчас стало как-то меньше. Я боялась смотреть на папу, чтоб он не заметил чего-нибудь в моих глазах. Но кот исчезал не надолго, две недели, хоть и были бесконечными, но прошли, и настал день, когда я смогла наконец перевести дух и опять увидеть снег, тучи, окно и стол, покрытый пестрой клеенкой. Ничего не изменилось за эти две недели. Папа по-прежнему прижимал ухо к приемнику, пытаясь выловить Би-би-си из гула глушителей, мама по-прежнему была в школе, занимаясь самодеятельностью со своим классом, и я по-прежнему сидела на диване с оранжевым томом Майна Рида. Время сделало петлю и вернулось в ту же точку. Прикосновение к великому Ничто оставило во мне лишь неясное облачко страха и несколько почти незаметных трещинок на упругих стенках души.

Еще одним любимым занятием летом было сооружение домиков — так назывались небольшие шалаши, которые мы строили из досок, фанеры, картона, кое-как добиваясь зыбкого равновесия. Получалось полутемное, таинственное пространство, где можно было вообразить себя на необитаемом острове, в космическом корабле или просто сидеть, похрустывая морковкой и глядя, как солнечные лучи косо пробираются через щели нашего домика. Однажды к нам залезла соседская девочка Рая и гордо заявила, что у нее уже выросли грудки. Покажи, потребовали мы. Рая задрала маечку — мы ходили в маечках и трусиках, больше ничего не надо было для жарких летних дней, — и мы увидели вокруг сосков две легкие припухлости. У нас с Изей все было гладко. «Ты просто жирная», — обидно сказал Изя. «Неправда!» — крикнула Рая, хотя она действительно была довольно пухленькая. У всех девочек на этом месте должна была вырасти большая грудь, как у мамы, у Али и у женщин в бане. Там, среди клубов пара, в жарком и влажном аду, со всех сторон свисали вялые или надутые розовато-желтые мешки, то опускаясь до колен, то расплываясь по животу, и огромные соски торчали из них, темнея, как застарелые мозоли. Как правило, баня была переполнена, мне приходилось ставить свой черно-серый, вызывающий во всем теле оскомину тазик рядом с чужими тетками, и неизбежно через пару минут возле меня вырастала какая-нибудь особенно пожилая каракатица, с кривыми ногами, бугристыми натруженными бедрами, скрипучими перепутанными коленями и впалым поредевшим лобком. Она протягивала мне лысую мочалку, на которую был намазан слой пахнущего грязными рейтузами четырехугольного хозяйственного мыла, и поворачивалась ко мне своей вялой спиной с широким плотоядным горбом и редкими морщинистыми ягодицами. Закрыв глаза и стараясь не дышать, я кое-как терла ей спину, а когда она, довольная, выпрямлялась и предлагала взаимные услуги, я убегала под холодный душ — только там можно было спастись. Мягкая речная вода лилась по моим волосам, уже немного подсохшим и тянущим кожу на голове, и я приходила в себя и начинала дышать, оглядываясь вокруг и замечая под потолком сверкающие, как у волков, глаза подглядывающих мальчишек. Что они видели в этом чистилище? Наверняка не то, что видела я, иначе бы не висели на морозе, Бог знает как и за что держась, над подслеповатыми, замазанными



почти доверху белой краской окошками, а удрали бы очертя голову и никогда бы не женились.

Хорошо было бы прямо из-под душа выбежать на улицу, но приходилось еще одеваться в предбаннике. Стоя на грязно-голубой решетке, под которой виднелся мокрый затхлый пол и кое-где белели куски ваты с темно-рыжими пятнами, я старалась одеться как можно быстрее, натягивая трусики и чулки на недовытертое тело, вырываясь из маминых рук, когда она меня причесывала, и больно дергая себе волосы. Мокрая, взвинченная, как кошка, которую долго тянули за хвост, я пролетала мимо толстой банщицы, одетой в мятый халат поверх мужской телогрейки и коричневого платка с жесткой бахромой, и выскакивала в спокойный, улыбающийся, розовый, покусывающий зимний закат. Взъерошенные перья понемногу опускались, крик, беззвучно стоявший в горле, затихал, и, подождав маму и получив толстое хрустящее яблоко, я шла домой уже в полном блаженстве, и счастливее меня становилась только я сама, завидев в чьем-то окне ослепительно-белые занавески и под ними гроздь красной рябины на мягком ватном валике между рамами.

## Футбол

Изя — крученый, как в сердцах называла его мать, не мог долго сидеть на месте, а мечтать вообще не умел, и мы отправлялись на улицу, где в бесконечных светлых сумерках уже собирались мальчишки играть в футбол. С футболом эту бестолковую и веселую мешанину объединяло только то, что мы тоже гоняли мяч. В пыли, то и дело натываясь друг на друга, не видя ни мяча, ни своих, ни чужих, мы самозабвенно носились на небольшом пространстве вокруг перекрестка нашей улицы и переулка, пытаясь забить мяч в то, что называлось воротами, а на деле было двумя консервными банками на расстоянии полутора метров друг от друга, между которыми так же бестолково метался и прыгал босой, почти невидимый из-за пыли вратарь. Под нашими ногами, ничего не понимая, крутился и колотил по мячу трехлетний Вантё, косолапый карапуз в широких штанах на ляшках, одна из которых, всегда оторванная, волочилась за ним по земле; несмотря на малый возраст, Вантё бегал в пыли вместе со всеми, поднимая страшный рев, если его не брали в игру. Вратарем одной из команд обычно был Сяргей, тощий, жилистый мальчишка, живший с полоумной матерью в убогой хибарке напротив Изи, в страшной бедности. У него не было ботинок, поэтому его ставили вратарем, чтоб не разбивал ноги. Сяргей таил в себе тяжелую ненависть к евреям, постоянно начинал говорить про жидов, но ребята его одергивали — не к месту, мяч был Изин, он мог обидеться, и игре конец, а про жидов поговорим потом. Игра продолжалась до самой темноты; охрипшие от криков и пыли, задыхаясь, потеряв счет голам и ушибам, грязные, как собаки, мы продолжали бешено гоняться за мячом, не в силах прекратить счастливое упоение общим бегом, как будто исполняли какой-то танец наподобие дервишей, и кончался праздник только тогда, когда чей-нибудь родитель внезапно являлся неведомо откуда и выхватывал свое дитя из плотного вихря. Игра сразу осыпалась, как лепестки с увядшей ромашки. От резкой остановки колотилось сердце и подкашивались ноги; Вантё, доковыляв до лавочки, тут же засыпал, и его брат Мишка тащил его домой на руках. Я медленно плелась домой, постукивая по заборам подобранной с земли палочкой. Нередко за мной на велосипеде приезжал папа, он сажал меня на раму перед собой, я прижималась к его рукам, вдыхала запах одеколона, и гул общей радости и кипения незаметно выдувался из ушей, глаза начинали видеть темные дома, каждый с теплым желтым окошком, темно-синяя ночь мягко покачивалась вокруг.

## Городки

Совсем иное дело были городки. Эта точная, разумная, купеческая игра требовала расчета, острого глаза и крепкой, уверенной руки. Даже Вантё это понимал и сидел на лавочке, надувшись и ковыряя в носу, но не ревел. Однажды поиграть с нами решил Колька, мой одноклассник, черненький вертлявый двоечник, а поддержать Кольку пришел его двоюродный брат Толик, года на два старше, красивый, высокий паренек, в учебе тоже тупой, но в жизни умный и приветливый. Я была единственной девочкой в компании. Ребята, которые играли с нами всегда, давно к этому привыкли, но братья устали на меня с изумлением. «Девчонки не играют в городки», — сказал Колька, имевший на меня зуб за отказ дать что-то списать — обычно я соглашалась, но незадолго до того Колька сказал, что я ябедничаю маме, которая была у нас классной руководительницей, обо всем, что происходит в классе. «Она хорошо играет», — вступился Мишка. «А вот посмотрим», — не унимался Колька, — пусть попробует! Пусть ракету выбьет!»

Ракета была одной из самых неудобных фигур: все пять чурок лежали на земле, и биту надо было направить так, чтоб она буквально подбрила тяжелые деревянные. Это не всегда удавалось даже самым лучшим игрокам, а я вообще пропускала очередь, если мне выпадала ракета. Я растерянно поглядела на друзей. Они смотрели на меня с интересом и некоторым злорадством. «Ну, будешь бить? — нахально приставал Колька. — А не то иди вон на лавочку к Вантё!» Все захохотали. Сяргей сиял. Наконец-то жидам хоть чуть-чуть достанется. Изя молчал, колукая пылью ногой в сандалике. Я взяла биту, которая вдруг стала вдвое тяжелее, и, почувствовав взгляд Толика, невольно оглянулась. Ласковые черные глаза смотрели на меня внимательно и весело. Он слегка кивнул. Неожиданно во мне заработали какие-то пружины, рука размахнулась так, будто Толик, отличный городошник, управлял ею, она поднялась на нужную высоту под нужным углом, мышцы сжались именно так, как надо, и бита полетела вперед. Четыре чурки взметнулись в воздух. Вантё с радостным воплем побежал за ними. Жаркая радость бушевала во мне. Вокруг стоял восторженный гомон, даже Колька говорил: «Вот это да! Девчонка, а так шпарит!» Толик смотрел на меня еще более ласково. Казалось, не только бита, а я вся, повинувшись его взгляду, могла бы сейчас взлететь и усестись рядом с черными ласточками на провода. Играть мне больше не хотелось, немного кружилась голова. Я села на лавочку рядом с Вантё. Ребята продолжали игру, но братья ушли. Я снова и снова повторяла про себя сцену своей победы. Вантё потрогал мою руку. «Здорово ты влупила, а?» — сказал он завистливо. Он был маленький, смешной, лохматый. Я посадила его к себе на колени. От него пахло пылью и молоком. Когда мне было лет шесть, я все время приставала к маме: купи мне братика. Тяжелый малыш непрерывно вертелся и хлопал сопливым носом. Да ну тебя, ссадила я его с колен. Кот лучше.

## Ножички

Весной, едва обнажалась черная влажная земля, мы возобновляли игру в ножички. Подтащив сырое лохматое полено к оттаявшему участку или присев возле него на корточки, вдыхая свежий запах серого, гаснущего снега, все еще лежавшего вокруг, мы подолгу швыряли острый, тяжелый перочинный нож. Фигуры были разные. Названия улетучились из моей памяти, но действия сохранились. Условие было одно: чтоб ножик вонзился в землю острием, а не шмякнулся. Вот самое простое: бросать ножик, держа его за черенок между большим и указательным пальцами. Даже это не всегда удавалось, иногда ножик кувырчался в воздухе и позорно падал

плашмя. Немного сложнее был бросок, когда ножик держишь за острие. Самым трудным считался бросок с кулака — ножик ставился острием на кулак левой руки, и надо было правой рукой придать ему такое направление и момент, чтоб он опять-таки вонзился острием. Кроме азартного желания выиграть, счастьем в этой игре были запах влажной земли, прилипавшие к ножу комочки грязи, холодный ветерок от еще нерастаявшего снега, прелые листья, черепки, бусинки и прочий прекрасный прошлогодний хлам, выносимый на поверхность планеты весенним таянием, как прибором на морской берег. Скучные остатки былых сокровищ пробуждали забытую за зиму мечту найти клад, и когда земля подсыхала, я начинала яростно перекапывать весь огород, стремясь отыскать заветное захоронение, в существовании которого я не сомневалась, до того, как придет гой с конем и вспашет участок, чтоб посадить картошку. Но вместо клада мне попадались те же черепки или осколки бутылок: темно-оранжевые и болотно-зеленые; отмыв, через них я смотрела на неузнаваемые небо, лужи, деревья, потом смотрела без стеклышка, потом опять через стекло, изумляясь и радуясь мгновенным изменениям пространства и света. В поисках прошлого я задумывалась о будущем, и проникшая в душу из научной фантастики мысль о двухтысячном годе долго не давала мне покоя. Ледяные зеленые мартовские вечера, полные звона замерзающих лужиц и колючего звездного света, требовали какого-то действия, мне хотелось, чтобы после меня остались не только черепки, и однажды я решила написать письмо в двухтысячный год, в котором мне должно было исполниться 53 года — в девять лет я не могла себе представить, что в таком преклонном возрасте еще можно жить. И вот я написала это письмо, свернула его, всунула в бутылку, заткнула бутылку пробкой и плотно обвязала марлей и красной ленточкой, как делала мама, запаковывая банки с вареньем, и в радостно гремющий апрельский день как можно глубже закопала бутылку в огороде. Долго потом я представляла себе, как в двухтысячном году археологи будут производить раскопки древнего кургана, в который к тому времени превратится райцентр, где не будет уже ни домов, ни улиц, ни садов, а все зарастет мягкой травой, ведь пройдет целых 44 года! За такой срок империи разваливаются! Итак, археологи будут производить раскопки, и вдруг среди черепков, костей и обломков кирпичей молодой ученый наткнется на совершенно целую бутылку, обвязанную красной ленточкой. Он поднимет эту бутылку, и посмотрит на свет и заметит с неописуемым волнением, что внутри что-то есть. Созвав всех своих товарищей, со всяческими предосторожностями он откроет бутылку и извлечет из нее плотно свернутый лист бумаги. Он развернет его и начнет читать, задыхаясь от волнения: «Меня зовут Лорочка. Мне девять лет. Я хочу, чтоб в далеком двухтысячном году вы прочитали это письмо и узнали обо мне. Больше всего я люблю котов, а еще читать книжки, особенно про путешествия на звезды и в прошлое. Я дружу с Изей. Интересно, какие вы будете. Целую крепко. Ваша Лорочка». Не успеет молодой археолог дочитать письмо до конца, как бумага, не выдержав соприкосновения с воздухом, прямо у него в руках рассыплется в прах. Останется только темно-зеленая бутылка. Нет, весь я не умру.

Следующей весной мне стало стыдно своего наивного пафоса, и я решила выкопать бутылку. Казалось, я хорошо помнила, где ее закопала — недалеко от лавочки, там, где обычно рос горох. Но бутылки там не было. Ее не было нигде. Потная, взлохмаченная, я стояла на солнце, теперь уже мне хотелось самой провалиться сквозь землю при мысли о молодых археологах двухтысячного года, которые, прочитав письмо, скажут: ну и дура эта Лорочка — и выбросят бутылку на свалку. Кому нужно такое бессмертие? Но бутылка пропала, словно и впрямь поплыла по океану времени, и кто знает, двухтысячный год пришел и прошел, но трехтысячный еще впереди. Мне тогда будет 1053 года. Пожалуй, на этот раз я уже весь умру.

## Конец

В какой-то момент Изя начал меня сильно раздражать. Как у Каренина, у него оказались противные оттопыренные уши, дурацкая тюбетейка всегда сидела криво на его коротко стриженной голове, и сам он с каждым днем становился все бестолковее. Раньше он хотя бы ходил со мной в библиотеку и с уважением смотрел, как я выбираю книги; теперь же отказывался. По вечерам мы часто сидели на бревнах, сваленных возле Изиноного дома; мощный запах свежей древесины возбуждал мое воображение, мне хотелось представить себе лес, где раньше росли эти дрова, судьбу тех деревьев, которым выпало стать мачтами, мебелью, бумагой. Я читала запоем, не всегда понимая прочитанное, и рассказывала Изе то про графа Монте-Кристо, то про туманность Андромеды. Но Изе все это было неинтересно, он вертелся, чесался и предлагал сыграть в карты, но не в пьяницу, а в дурака, где мне никогда не удавалось запомнить вышедшие карты, и я неизменно проигрывала. Ко мне он приходил не хотел, так как боялся маминых насмешек — как-то, когда я пила какао, он сидел рядом и говорил, поторапливая меня: «Пи, ну», и с тех пор мама не могла его видеть без смеха, без конца повторяя это дурацкое «Пи, ну»; а у него теперь делать было решительно нечего.

Однажды летним днем мы торчали на Изином дворе, вяло споря о том, пойти в кино или нет — в клубе шла «Тайна двух океанов», которую мы смотрели уже раза три. Нечаянно взглянув через ветви деревьев на улицу, я увидела свою одноклассницу Нину, которая неторопливо шла куда-то, одетая в красивое белое платье. В длинные светлые косы были вплетены ярко-синие ленты. Я невольно посмотрела на свои одежды. На мне было замызганное коротенькое платьице, подол в одном месте оборвался, на голове у меня был какой-то зеленый платочек, я его надевала, чтоб не были видны непричесанные волосы. У Изи по лицу размазалась грязь. Испугавшись, что Нина меня увидит на Изином дворе, я поскорее спряталась за колодцем. Изя удивленно посмотрел на меня, хотел потянуть за руку, чтоб пойти в кино, но я сердито отмахнулась. Как назло, Нина встретила кого-то посреди улицы и остановилась поговорить. Скорчившись, я сидела за колодцем, тяжелая злость разбухала в душе. Наконец Нина пошла дальше. О кино уже не могло быть и речи, но Изя ничего не понял и продолжал настаивать. «Иди ты к черту, — вдруг сказала я, — дурак!» — «Ты чего?» — изумился Изя. «А того, — крикнула я. — Ты дурак! Дурак! Дурак! И шапка у тебя дурацкая!» Я сорвала с остолбеневшего приятеля расшитую тюбетейку, выбежала на улицу и с силой швырнула ее в лужу. Изя, очнувшись, побежал было за мной, но, увидев, что его драгоценная ермолка неторопливо плывет по воде, заревел, как Вантё, и бросился домой. Все еще в непонятном мне самой гневе, я схватила палку, валявшуюся на земле, и запустила ею в убежавшего мальчика. Палка попала Изе в спину, он дернулся на бегу, едва не упал и заревел еще громче. На долю секунды меня охватили жалость и раскаяние, мое не привыкшее к таким ссорам тело рванулось к другу — раньше, когда мы ссорились, я уже через пару часов приходила мириться — но на этот раз я тут же остановилась. Примирения быть не могло. Дружбе настал конец.

## Лагерь

С кем же мне дружить? — размышляла я, сидя на лавочке в нашем дворе. Хорошо, что сейчас каникулы, можно просто быть дома, читать, столько интересных книжек, радио слушать. Ничего. С кем-нибудь подружусь. Я не горевала — Изя мне больше был не нужен, я рада была, что все с ним кончено, мне даже было стыдно, что я так

долго с ним играла. Скучно мне не было, но через несколько дней, уступив родителям, озабоченным моим внезапным одиночеством, я нехотя записалась в дневной лагерь, убогая деятельность которого — бездарные игры, высосанные из пальца авторами «Книги для вожатого», унылая самодеятельность под аккомпанемент полупьяного гармониста, прополка школьного огорода — проходила в основном на территории нашей школы, но иногда устраивались вылазки в лес или на речку. Речка вместе с еще двумя дюжинами галдящих ребят была совершенно не похожа на ту речку, куда я ходила с родителями. Нежная вода становилась замусоренной и сердитой, пропадал тонкий звон кузнечиков, мягкий шепчущий ветерок превращался в злобный смерч, забивающий пылью глаза и ноздри. Через три дня я заявила, что больше в лагерь не пойду, но согласилась провести в неволе еще один день, и именно тогда нам назначили нового вожатого. Это был четырнадцатилетний Саша, спокойный, чисто вымытый, русоволосый мальчик с хорошими серыми глазами и с тщательно обернутой в газету книгой, которую он положил на стол.

Книга оказалась сборником рассказов Ефремова «Звездные корабли», у нас она тоже была, я много раз ее перечитывала, с наслаждением ощущая, как сжимается сердце и кожа покрывается пупырышками от восторга и ужаса, когда в одном из рассказов герой смотрит на прилетевший неведомо откуда медальон и видит там странное, похожее на человеческое и в то же время совершенно нечеловеческое лицо. Такой удачи я никак не ожидала. После лагеря мы со Сашей проговорили больше часа, называя прочитанные книги и те, которые обязательно надо было прочитать. О том, чтоб бросить лагерь, нечего было и думать. На следующий день наш отряд поехал в лес, я стояла рядом с Сашей в кузове грузовика, крепко держась за борт, и мы вместе громко пели пионерские песни. «Ты лети, ветерок, через тысячи дорог, через весь наш мирный край, всей родной земли героям, мастерам великих строек, пионерский привет передай». «Учительница первая моя». «Мальчишки, девчонки, девчонки, мальчишки, мы учимся вместе, ура!» Собирали хворост, разжигали костер, пекли картошку, играли в какие-то дурацкие игры, и я с нетерпением ждала конца дня, чтоб опять остаться с Сашей, говорить о книгах, сидеть рядом. От него пахло хорошо выглаженной, чистой рубашкой.

В один из дождливых дней, когда пришлось сидеть в классе и заниматься совсем уже дикими делами, вроде шитья тапочек, я подошла к Саше, чтоб показать ему потрясающую книгу — «Собаку Баскервиллей» Конан Дойля, которую папа купил несколько дней назад. Саша взял книгу, коснувшись при этом моей руки, и удивительно приятное ощущение охватило меня. Изя иногда случайно задевал меня своими грязными, липкими руками, это было очень противно, а у Саши были теплые, сухие, немножко шершавые пальцы. Мне захотелось погладить его по голове, он сидел за столом, я стояла рядом, это, наверное, тоже было бы очень приятно, у него такие чистые, темно-русые волосы, густые и ровные. Но так делать нельзя, он же чужой мальчик. Саша листал книгу и что-то спрашивал, но я услышала чей-то громкий шепот: «Сашка с Малой гуляет». В классе меня звали Малая «Жених и невеста», прошипел кто-то еще громче. На задней парте сидели мои одноклассницы Света и Нина, они хихикали и шушукались, вертели и писали записочки. Саша покраснел и опустил голову. Казалось, он хотел спрятаться за колодцем. Света, высокая девочка, признанная красавица, вприпрыжку подбежала к столу и легко уронила перед Сашей пару красных тапочек. «Готово», — крикнула она. Саша взглянул на нее, она, улыбаясь, теребила поясok платья. «А сейчас пойдём играть в мяч, дождя уже нет», — крикнула Нина, и все, не дожидаясь команды, повалили в дверь. Саша выбежал в коридор. «Собака Баскервиллей» осталась лежать на столе.

## Суд

Вторая мировая война, отгремевшая еще до моего рождения, следовательно, примерно в то же время, когда по Европе бродили первобытные племена, непонятно было, как могут люди, которых я вижу каждый день, помнить такие древние события — оставила в Любани, как и во всех местах, побывавших под немецким сапогом, братские могилы и тех, кто наполнял эти могилы трупами соседей. На нашей улице жили несколько бывших полицаев, отсидевших сравнительно небольшой срок, они держались осторожно и тихо, стараясь поменьше показываться на глаза. Один из них, Иван, невысокий аккуратный мужичок в ушанке, которую он не снимал даже летом, все время копался у себя в огороде, но иногда окидывал прохожих острым волчьим взглядом. Время шло, память утихала. Но однажды летом стало известно, что два полицаия из недалекой деревни, хотя и отсидели по десять лет, будут опять отданы под суд по новым обвинениям.

Суд заседал в здании клуба. Детей внутрь не пускали, чтоб не калечить юные любопытные души, но тем не менее вывели наружу репродукторы, ибо ожидалось много зрителей и все бы не поместились внутри. Вокруг клуба, особенно в первые дни, стояла довольно большая толпа, потом людей стало меньше. Я к тому времени успела прочитать много книг о войне — папа постоянно приносил воспоминания об оккупации и концлагерях, и слова Освенцим, Бухенвальд, гетто были мне хорошо знакомы. Чудовищные подробности иногда застревали в памяти, вызывая неприятное съезживание в животе, но душу трогали не больше, чем описания быта людоедов — ведь все это было так давно. Даже когда мама рассказывала о том, как погибли в Минске ее младшие брат и сестра, спрятавшиеся в бочке и все же выданные немцам евреем, это оставалось таким же далеким преданием, как неустанно повторявшиеся в школе истории о Зое Космодемьянской или Николае Гастелло. Прошло много лет, прежде чем я вдруг различила в ошеломленной, спотыкающейся толпе двух немолодых женщин, они то шептали «Шма Исроэл», то растерянно оглядывались, пытаюсь, как утопающий, ухватиться за любую соломинку надежды: вот этот парень, он же еще зимой приходил к нам колоть дрова, его мать живет напротив, может, поможет? Спасет? Куда нас ведут, не могут же всех расстрелять? И детей, и стариков? Могут. Знакомый парень матерится и пинком подталкивает замедлившую шаг Рахель или Либу — моих бабушек, которых у меня никогда не было.

К клубу меня привлекло неясное любопытство, к тому же стояли каникулы, делать мне было нечего, в доме много говорили о суде, о страшных делах обвиняемых, о том, что родственники подсудимых уверяют, что их обговорили жида. Иван перестал появляться даже в огороде. Люди стояли возле клуба темной дышащей толпой, курили, молча слушая усиленные репродуктором рыдания свидетелей. На одном из заседаний давала показания Богдана. От волнения она забывала даже те немногие русские слова, которые были ей известны, но строго-сочувственные вопросы и уточнения прокурора превращали ее сбивчивые всхлипывания в кровавый первобытный миф, персонажами которого, однако, были не кудрявые богатыри с палицей или гибкие сверкающие нимфы, а два серых, седых человека, охваченные ужасом приближающегося возмездия, хотя когда-то они были здоровыми молодцами и, посвистывая и матерясь, весело убивали мать Богданы, ее отца, десятилетнего племянника. Богдана глядела куда-то вверх через толстые очки, опираясь на плечо родственницы, тоже черной и в очках. В первые дни подсудимые — я видела, как их вводили в зал — держались прямо, надеясь, по всей видимости, что суд будет не более чем показухой. Но к концу первой недели страх начал пригибать им головы, и взгляд искал жалости. В толпе тем не менее шелестело: жида наговаривают. У пре-

ступников было много родственников, Василь год назад женился, в зале сидела его молодая бледная жена в белом платке, с грудным младенцем на руках. Мои родители предпочитали на суд не ходить, но другие евреи являлись туда, как на работу, сидели весь день, чернея и сжимая кулаки, и, выходя, громко и горько говорили на идиш, и толпа осторожно расступалась перед ними.

В день приговора к клубу собралось чуть ли не все население райцентра. На этот раз почему-то детей тоже пускали внутрь, и мне удалось занять место не очень далеко от сцены. Защитник промямлил несколько слов о раскаянии и хорошем поведении обвиняемых в лагерях. Степан от последнего слова отказался, а Василь встал, хотел что-то сказать, но судорога исказила его уже мертвое лицо, и он, махнув рукой, обмяк на место. Жена его сдавленно заплакала. Приговор был окончательный и обжалованию не подлежал. Черный контур богини возмездия пронесся по торжественному темно-бордовому занавесу, висевшему в глубине сцены.

На них надели наручники и повели — вернее, поволокли — к тюремной машине. Идти они были не в состоянии. Их вина была доказана неопровержимо, но сейчас, обессиленные, приговоренные к расстрелу, они были беспомощны, как связанные овцы, и это не укладывалось в голове. Тяжелая тишина, прерываемая лишь рыданиями жены Василя и причмокиванием ее ребенка, сосавшего грудь, стояла вокруг суда. Евреи ушли первыми, потом пошел дождь, и толпа начала угрюмо расходиться. По дороге домой я невольно остановилась у дома Ивана. Мертвая тишина стояла и там, даже куры не кудахтали.

Иван сидел на табуретке во дворе, я впервые увидела его без шапки, редкие седые волосы мокли под тихим дождем. Он что-то чертил прутиком на земле. Ощувив, что кто-то стоит за калиткой, он поднял голову, и мутная, застарелая ненависть ударила меня, как кирпичом. «Радуешься, жидовское отродье? — вкрадчиво спросил он. — Мало мы вас... Попалась бы ты мне... — Он был страшно пьян. — Пошла, ебит твою мать!» — вдруг заорал он и замахнулся прутиком. Перепуганная, я побежала домой.

## Танцы

Занятая книжками, музыкой, котами и прочими тайнами природы, не найдя себе ни одного друга среди сверстников, я оставалась в стороне от мальчиков, нарядов и танцев.

Свежий номер «Нового мира» был заведомо интереснее неуклюжих мальчишеских приставаний. Тем не менее слегка искаженные расстоянием звуки популярных песенок, доносившиеся с танцплощадки в прозрачные летние вечера, тревожили меня, возбуждая смутное ощущение убегающей радости. Другие девочки бегали на танцы лет с одиннадцати, поначалу просто сидели вдоль стены, наблюдая и учась, как обезьянки, а затем и сами выходили на круг и к четырнадцати годам уже умели и танцевать, и лицемерить, таить надежду, ревновать, матери шили им красивые шерстяные платья, покупали совсем уже взрослые туфли и пальто, и мальчишки, все еще сопливые, смотрели завистливыми глазами, как после школы одноклассниц поджидают высокие хмуроватые старшеклассники или солдаты.

Незадолго до Нового года в школе назначили вечер танцев специально для семиклассников. Вихрь подготовки захватил и меня, невозможно было остаться в стороне и мирно сидеть дома, стараясь на следующий день не замечать насмешливо-жалостливых взглядов. Золушка, Наташа Ростова, мамыны бесконечные рассказы о победах и кавалерах и предрекание и мне подобных завоеваний, стоит лишь переступить порог сверкающего зала, в конце концов превозмогли робость и неуверенность, и я решила пойти на вечер. Обрадованная мама начала меня одевать. Кроме

синей, нелепо сидевшей на мне формы, у меня не было платья. Шить тоже не было времени. Мама достала свою розовую шелковую блузку с лиловыми лотосами и широкую черную юбку. Блузка была мне почти до колен, юбку можно было добрых два раза обернуть вокруг моей талии, но маму это не смутило. «Ди шейнкайт дер фун!» — повторяла она. Папа смотрел на меня с некоторым сомнением, но молчал. Я видела, что юбка держится плохо, а блузка вылезает наверх и сидит криво, но мама трещала о том, как за ней ухаживал директор школы, когда она в этой блузке пришла год назад на вечер, она заколола юбку булавками, вплела мне в волосы большой белый бант, в зеркале на меня смотрело симпатичное разгоряченное личико, и туфли у меня, слава Богу, были свои — красивые, остроносые, светло-бежевые, хоть и не на каблучках; и вот, провожаемая малопонятными увещеваниями не даваться мальчикам, я отправилась на свой первый бал.

В большом зале, увешанном гирляндами искусственных цветов, народу было пока немного. Я подошла к Свете и Гале, они стояли у стены, обе очень нарядные, с красивыми взрослыми прическами и блестящими подкрашенными глазами. На меня они едва взглянули, насмешливо переглянулись и тут же замахали руками входящим ребятам. Мальчики наши тоже принарядились, хмурые тупицы превратились в веселых, развязных, хулиганистых ухажеров, некоторые, оглядываясь, выходили покурить во дворе. Несколько учителей наблюдали за порядком. Играла приятная знакомая музыка, танцы еще не начинались, все громко говорили и смеялись, бегали по залу, криками и шутками встречали проходящих, и мне было весело и хорошо, несмотря на то, что проклятая юбка все время спадала и несколько раз, вспотев от напряжения, я перекалывала булавки, которые кое-как удерживали ее на мне.

Наконец зал наполнился ребятами до духоты, дежурная учительница сказала несколько строгих слов, и грянул первый вальс. Я умела танцевать только медленные танцы и, решив вальс пропустить, приготовила в уме пару любезных отказов кавалерам. Кавалеры тем временем устремились к дамам, в том числе к нашей группке. Сердце у меня забилося, но кавалеры пригласили Свету и Галю, а меня, похоже, не заметили. Ну и ладно, я же все равно не хотела танцевать вальс. Пары носились по залу, некоторые выделяли ловкие пируэты, но большинство ребят и девочек все еще стояло вдоль стен, наблюдая за танцующими и разговаривая.

Хватая за сердце, поплыла изумительная мелодия «Маленького цветка», и я взволнованно подтянулась и украдкой проверила юбку. Теперь и мне придется танцевать! Кто пригласит? Вот опять к нашей группке быстро идут трое мальчишек; один приглашает Свету, второй Галю, третий меня... Третий меня даже не увидел, крикнул и пошел к девочкам, которые стояли неподалеку, и пригласил Лену. Теперь уже танцевали практически все. Покачивались, прижавшись, два шага налево, два шага направо. Шаг вперед. Проще некуда. У стены стояли только я и один-два парня. Но они не смотрели на меня. Некоторые девочки танцевали друг с дружкой, близкие подруги, у меня таких не было. В ушах у меня звенело, в горле стоял ком. Я изо всех сил старалась сохранять независимо-веселое выражение лица. Но как же это? Почему никто не хочет со мной танцевать? Из-за блузки? Юбки? Некоторые девочки были одеты достаточно безобразно, иные просто в форме, были там и толстые, одутловатые, косые, кривые, прыщавые, одна вообще хромая, а у меня было чистое, нежное лицо, большие серые глаза, длинные ресницы, и я так хотела танцевать, пусть бы хоть Сашка пригласил меня, он всегда дергает меня за волосы, а Колька? Вчера приставал ко мне, хотел сесть рядом, почему же сейчас он в тот бок не смотрит? «Маленький цветок» кончился, радостные девочки продолжали кокетливо болтать с ухажерами. Света и Галя не вернулись туда, где сиротливо стояла я. Ну ладно, может, на третий раз повезет. «О гитара, гитара!» — запела пластинка. Я отча-



янно вертела головой во все стороны — кто-нибудь! Кто угодно! Самый противный, самый вонючий, самый нахальный!

Вдруг кто-то тронул меня за руку. Я быстро обернулась. «Пойдем?» — сказала приземистая, меньше меня, кикимора с прямыми плечами, длинными, до ушей, глазами и широким, как у взрослой бабы, животом. Это была Коробченя, известная своей дуростью девица из белорусской школы, не пропускавшая ни одного вечера. Танцевать с этой каракатицей? А стоять у стены лучше? Может, мальчики думают, что я не умею танцевать, а вот увидят, что умею, и кто-нибудь пригласит... «Давай, а то музыка кончится», — хриплым басом сказала Коробченя и потащила меня в самую гущу. Она крепко прижалась ко мне своим мерзким брюхом, потом грудью, потом уткнулась мне головой в плечо. От нее пахло старым одеялом. Плюнуть на всю эту гадость и пойти домой. Коробченя прижалась еще крепче и начала елозить по мне животом, я попыталась было отстраниться, но не тут-то было. К счастью, танец кончился, Коробченя церемонно отвела меня на место, но осталась стоять рядом, явно намереваясь продолжить удовольствие. Господи, куда деваться? Уйти домой? А что завтра? Все будут надо мной смеяться? Неужели меня так ни один мальчик и не пригласит? Ведь теперь они видели, что я танцую?

Опять вальс, потом танго, потом «Бамбино», Коробчене я отказала, она нашла себе другую даму, а я подпираю стенку, и мне уже все равно. Нет, мне далеко не все равно. Вот приближается какой-то незнакомый паренек, довольно симпатичный, кажется, идет прямо ко мне, подходит ближе, лицо его искажается разочарованием, он поворачивается и уходит. Нет, я должна уйти, так невозможно, зачем я здесь стою, в этой дурацкой блузке с лотосами, меня здесь как будто нет, во сне так бывает иногда — что я, призрак? Они же со мной здоровались, но когда надо было приглашать, я для них исчезла? Они видят только Свету и Галю? Почему? Нет, карету мне, карету, но как уйти, пальто в гардеробе, гардероб в вестибюле, пройти через весь зал, все увидят, как я, заплаканная, в спадающей юбке, ухожу одна, ухожу одна с праздничного, радостного вечера, и никто не бросится вслед за мной, никто не скажет: подожди, я с тобой. Золушка, которую никто не заметил.

Кое-как сдержав откровенный рев, я пробралась вдоль стен к выходу, оделась, пробормотав в ответ на сочувственный вопрос гардеробщика: «Голова болит», и выбежала наконец на улицу. Ночь, снег, мороз — вот мои истинные друзья, добрые и великодушные, они всегда со мной, перед ними не надо унижаться, они дают мне свой великолепный холод, хруст и мерцающий свет, они меня любят, и я их люблю, и им не надо нравиться. Слезы хлынули так, будто и впрямь прорвало какую-то дамбу, я бежала домой и рыдала, и мама со страху подумала, что меня изнасиловали. Нет, всего-навсего ни одна собака не пригласила на танец. «Антисемиты, — воскликнула мама, — я им покажу! Все получают двойку! Такую девочку не пригласить! Нарочно сговорились!» Я вынула осточертевшие булавки, и проклятая юбка упала на пол. Папа сидел у мурлычущего приемника, Анатолий Максимович Гольдберг размеренным басом объяснял суть советского режима, зеленый глазок говорил: ничего, не переживай. Книжные переплеты мягко и успокаивающе поблескивали в оранжевом свете абажура. Им тоже не надо нравиться. Есть много вещей на свете, которым не надо нравиться, но что же нужно там, на этом проклятом вечере? Я же умная, хорошая, столько знаю и симпатичная — все так говорят, и в школе я, правда, все время читаю, ну и что? Иногда я играю с ребятами, участвую в разных делах. Вот если бы на вечере был такой парень, как папа, он бы танцевал со мной. Где-то он есть. Должен быть. Но папа женился на маме, а мама не такая, как я, она похожа на других девочек, она веселая, злая и не любит читать. К тому же папа не умеет танцевать. «Зест ойх», — говорила мама, а мне проходу не дают даже сейчас, все приглашают. «Ты

умеешь танцевать вальс? Давай я тебя научу, лучше всех будешь танцевать!» Мама схватила меня за плечо и запела «Дунайские волны». Я путалась в движениях, и нам обеим это быстро надоело. «Я их проучу, этих бандитов!» — повторяла мама, но я уже достала «Новый мир», и в разумной реальности книги постепенно растворилась и затихла боль отвергнутой готовности играть и прыгать в толпе детей.

\* \* \*

Первомайская демонстрация подходила к концу, ребята, разбившись на кучки, обсуждали дальнейшие планы: пойти вечером в кино? На танцы? Собраться где-нибудь? Я, как всегда, хотела только одного — пойти домой и уткнуться в книгу. Родители собирались на праздничный вечер, я останусь дома одна — что может быть лучше? Нина и Галя не слишком усиленно уговаривали меня пойти с ними, я отказалась и повернулась, чтобы уйти, и в этот момент краем глаза заметила высокого белокурого парня, стоявшего неподалеку вместе с другими ребятами. Парню было на вид лет шестнадцать, он курил, повадка его была вызывающе-хулиганской. Он мельком взглянул на меня, я увидела, что глаза у него карие и зоркие, и ноги у меня оторвались от земли. «Кто это?» — спросила я сдавленным от волнения голосом. «Николай», — равнодушно ответила Нина. Имя было мне знакомо — чуть ли не каждую неделю Николая исключали из школы за разного рода безобразия, еще недавно отец нещадно его лупил, но ничего не помогало. Он устраивал драки на танцплощадках, говорили, что в кармане носит кастет или финку и пьет, как взрослый мужик. Я села на лавочку. Мне хотелось не переставая смотреть на этого необыкновенно красивого парня. Он опять взглянул на меня, я быстро отвернулась и сильно покраснела. «Что за черт? — подумала я. — Нравится он мне, что ли?» «Это что за жидовочка?» — вдруг громко спросил Николай. Только этого мне не хватало. Парни захохотали, а Николай неторопливо двинулся ко мне. На секунду я оцепенела, как во сне, но тут же рванулась прочь. «Маленькая еще», — оскорбительно сказал кто-то. «Дочка завуча, — не стоит связываться», — предостерегла Нина. «А-а, блядь, — сказал Николай. — Ну и черт с ней».

Ну и черт с ним. К тому же гой. А с гоем не дай Бог связаться. Выйти за русского — Боже упаси, русские мужья пьянствуют и бьют жен, говорила мама. Вокруг было много тому примеров. Почти все наши соседи регулярно напивались вдрызг, и часто из их домов доносились душераздирающие вопли — наверное, избиваемых жен. Или детей. Нет, даже смотреть на него не буду. Хулиган, бандит, двоечник. Зачем он мне нужен. Но, как назло, Николай попадался мне на глаза на каждом шагу, всегда в компании таких же полууголовников, красивый, как олень, с травинкой или папироской в зубах, сыплющий грязным, щекоцущим матом. Он мне совсем не нравится. Пусть бы посмотрел на меня. Только бы не посмотрел на меня. Сердце колотится, в ушах звенит, вот-вот упаду в обморок. Я независимо прохожу мимо гогочущей компании, никто на меня не обращает ни малейшего внимания, что это со мной делается, черт побери? Как увижу, как услышу... Да пошел он. У него белокурые, небрежно взлохмаченные волосы. Черные ресницы. Нахальные глаза. Девочки от него без ума. Римма рассказывает: одной девочке дали какой-то напиток, и тут пришел Николай, и она просто бросилась на него. «Зачем?» — спрашиваю я. Римма переглядывается с Наташей, обе снисходительно улыбаются. «Чтоб это самое». — «Что это самое?» — недоумеваю я. «Да ты что, не знаешь?» — «Нет», — честно говорю я. «Чтоб, — и Римма шепчет, — яб». У меня явно идиотский вид. Она пишет на бумажке: яб. «Яблоко?» — говорю я и чувствую себя последней дурой. Мат гремит на каж-

дом шагу, но точное значение его элементов мне неизвестно, ведь ни у кого не спросишь, в книжке не прочитаешь. На всех заборах четко написано хуй, но ептвююмать я знаю только понаслышке — в буквальном смысле этого слова — и смутно понимаю, но что такое яб? Римма и Наташа хватаются за бока. Я сердито прощаюсь и ухожу домой. Что же все это значит? Внезапно я понимаю, «что яб и ептвююмать» одного корня, значит, девочка бросилась на Николая, чтоб яб... чтоб ептвююмать. Но потом у нее будет аборт, об этом все время пишут в журнале «Здоровье», а после аборта не будет детей. Душераздирающие истории о женщинах, глупо и легкомысленно погубивших свою жизнь. Она, наверное, этого не знает, кто же читает «Здоровье», кроме нас. Бедная девочка.

В школе без конца говорили об этом, хихикая и перешептываясь, и меня бросало в жар и озноб от одного упоминания его имени. Что же это за наказание, отчаянно думала я, он же мне совсем не нравится, да и как может мне нравится этот безграмотный жлоб? Господи, почему все так бестолково, почему единственный мальчик — единственный человек на тридевять верст вокруг — кроме папы, разумеется, — с которым можно было бы говорить о том, что меня интересует, сидит, надувшись, целый день в углу и сморкается за парту? А единственный мальчик, от одного вида которого я теряю рассудок, — антисемит и подонок, и никакой дружбы с ним быть не может? Где же нормальные люди, которых так много в книгах, в кино, там все по-другому, нигде нет таких типов, как у нас, не только дети, взрослые тоже один другого краше, взять хотя бы учительницу белорусского языка. Это была сутулая, почти сгорбленная женщина, с кроткими бесцветными глазами и редкими волосиками, закрученными в вялый узел. Она старательно рассказывала нам то, что ей самой удавалось выучить накануне по учебнику; сталкиваясь с непонятными выражениями, ее куца фантазия неожиданно выдавала настоящие перлы — на вопрос, что означает сыр-бор загорелся, она сказала: это значит, что сыр парауноуваецца (сравнивается) с бором. Никто не засмеялся, вероятно, ученики поверили учительнице. Или еще один случай: вызванному к доске ученику было велено вычислить корень слова «писать». Ученик, то ли по тупости, то ли для смеха, написал сать. «О! Сать! — сказала учительница. Чуть не ссать. Хиба ж можа быть таки корань?» На этот раз кто-то хихикнул, но возражать не стал. Я молча давилась от смеха. Мужем ее был высокий, пузатый и представительный заврайоно, мамин враг и сам хороший преподаватель обществоведения, и к какому-то юбилею ей, единственной в районе, присвоили звание заслуженной учительницы БССР, и только моя мама кипела и возмущалась, без всякого толку.

Дни шли, Николай дебоширил, я безмолвно страдала. Сталкиваясь с ним на улице, я боялась взглянуть на него, боялась взглянуть на других — мне казалось, что на мне все написано, как на доске, и так наверняка оно и было. Наконец, на мое счастье, белокурый красавец избил продавщицу винного отдела, которая не соглашалась продать ему пол-литра водки, и отец быстренько устроил своего оболтуса в какой-то интернат, откуда он приехал в первый раз на побывку только через полгода, несколько прищученный, но к тому времени я уже излечилась от наваждения, и у меня появился настоящий ухажер — друг родственника.

Виделась я с ним в городе, куда приезжала на каникулы. Ехать надо было на автобусе около пяти часов, это было настоящее путешествие. Восторг и волнение непременно охватывали меня, едва из вечерней тьмы проявлялось торжественное, всеобъемлющее розовое свечение, означавшее близость города. Реальность города, правда — грязный вокзал, бестолковое движение людей и автобусов, вонь разных пород — несколько снижала восторг предчувствия, но все равно было прекрасно. У

родственников было множество друзей, каждый вечер к ним приходили люди, пели Окуджаву, рассказывали анекдоты, ко мне относились ласково и покровительственно. Невысокий лысоватый человек с приятным голосом и мягкими безвольными глазами садился рядом со мной, кладя руку на спинку дивана, откуда она незаметно перемещалась на мое плечо, вызывая во мне благодарность и гордость — внимание взрослого мужчины компенсировало все неудачи и унижения, причиненные мне сверстниками. Ночью я просыпалась от ровного гула улиц, куда время от времени вплетались гудки, дребезжание, тяжкие вибрации, и снова засыпала, совершенно счастливая. Однажды я услышала голоса за окном — хозяйка и мой кавалер сидели на лавочке и негромко беседовали. «Я могу подождать, — говорил он. — Три года. Пока ей не исполнится восемнадцать лет». Это он обо мне, всполошилась я. Что значит — подождать? Чтоб жениться? У меня будет жених? Вот это да! Ни у одной нашей девчонки еще нету жениха, вот будут завидовать! «Кому ты нужен, старый конь?» — насмешливо сказала моя заступница. «Старый конь лучше новых двух», — с легкой печалью в голосе произнес влюбленный, и собеседники рассмеялись. Сердце мое металось в груди, как мяч на футбольном поле. «Через мой труп», — решительно заявила хозяйка. После долгого молчания рыцарь вяло сказал: «Ну ладно» — и зашуршал плащом, очевидно, вставая с лавочки. То есть как это ну ладно? А где борьба за любовь? Где что-нибудь вроде: «Нет, я ее люблю, я не могу без нее жить, я поговорю с ней, пусть сама решает», где хотя бы слезы, мольбы? Он вздохнул и ушел, а вечером пришел, как обычно, но не сел рядом со мной и старался на меня не смотреть, и я тоже старалась на него не смотреть. Хозяйка была очень довольна. Через полгода мой благородный кавалер женился на своей давнишней подруге, которая ждала его десять лет, и стал жить-поживать, и когда нам изредка доводилось встречаться все в том же доме, он грустно смотрел на меня, но ни разу ничего не сказал.

\* \* \*

Впервые меня привели в детский сад в три года. По рассказам родителей, я подняла такой рев, что было решено еще год подержать меня дома, тем более что я родилась на две недели раньше срока и врачи опеределили мне более медленное развитие. Я играла с соседом Вовкой, он басом звал меня Рола. Через год маме окончательно надоело сидеть дома, она рвалась на работу, ей хотелось ругаться и нравиться, и меня, несмотря на рев, отвели все в тот же детский сад.

Просторные светлые комнаты, игрушки и книги, во дворе большая песочница и увитый синими повоями забор. К вечеру цветки сворачивались в темно-розовые трубочки и опадали, мы их подбирали, зажав один конец, сильно дули в другой, и они лопались с едва слышным хлопком. Крупные душистые лепестки роз тоже можно было прижать к губам и сильно подуть, но они не лопались, а издавали негромкий, чистый, замирающий свист. Этим волшебным царством владели десятки орущих, толкающихся детей, три злые ведьмы, старые девы Мария Семеновна, Мария Александровна и Мария Сергеевна, и одна добрая — Надежда Алексеевна, замужняя и с детьми. Каждое утро я заново и тяжело переживала резкое, без промежуточных ступеней, перемещение из мурлыкающего дома в непрерывный гвалт детсада. Воспитательницы возвышались за столом, где ели манную кашу, я пыталась за едой говорить домашние слова — бульбалки (так мы с мамой называли пузырьки, вздымающиеся из белой глади каши, я разбивала их ложечкой, и они, лопаясь, смешно оседали и исчезали, и поверхность мгновенно выравнивалась), одна из Марий стро-

го и раздраженно обрывала меня: ешь уже, не болтай! Слезы катились из глаз, стояли в горле. Время от времени наставницы обрушивались на кого-нибудь со всей скопившейся за много лет злобой, с наслаждением крича и угрожая ребенку, разлившему молоко или сломавшему игрушку, карами и в саду, и дома, и во веки веков. Вопли эти меня страшно пугали, мне казалось, что кричат на меня, я начинала плакать, и на меня действительно начинала орать до этого сдерживавшаяся бонна. По нужде детей всех вместе несколько раз в день выводили в прихожую, где вдоль стен стояли потрескавшиеся эмалированные горшки. Я не могла выдавить из себя абсолютно ничего, тем более что дома я обычно сидела на горшке с книжкой или с игрушками, и папа мягко спрашивал: «Уе?» — так я выговаривала «уже», когда была совсем маленькая. Ко времени обеда я становилась запуганным, загнанным зверенышем, в горле стояли уже не только слезы, но и утренняя каша, живот надувался, как мяч, и первая же ложка горохового или перлового супа вызывала рвоту, приходилось за мной убирать, дети отворачивались, кислый запах висел вокруг меня до конца дня.

На праздники устраивали утренники и фотографировали. Когда мы получали карточки, я старательно замазывала черным карандашом длинноносое лицо Марии Семеновны, красивое и свирепое — Марии Сергеевны, бесцветное — Марии Александровны. Только Надежду Алексеевну я не трогала: она не кричала и иногда могла даже приласкать обиженного ребенка.

Вокруг всегда было много книг и газет, и постепенно из черной ряби начали возникать буквы — А, М, В. Вот я беру тяжелую темно-зеленую книгу, на твердой обложке тускло светятся крупные золотые знаки. Они мне уже знакомы, я читаю вслух: «Методика преподавания математики». Родители потрясены. Слова мне не понятны и в то же время понятны, потому что я смогла их прочитать, они звучат так же, как и другое сочетание слов, например, дверь комнаты дома, кроме того, их можно запомнить, и, оставшись в памяти, они становятся еще более знакомыми и от этого кажутся понятными. Я читаю все, что попадаете мне на глаза: газеты, письма, объявления на столбах, все имеющиеся дома книги, детские и недетские. Чтение становится не только привычкой, оно превращается в натуру, в сильнейшую потребность, без книги — какой угодно — я нервничаю, я постоянно хочу читать, меня спрашивают: «Что тебе купить?» — «Книжку». В детском саду я, стесняясь, долго никому не говорила, что умею читать, но в конце концов открыла секрет и прочитала нескольким ребятам страницу из «Сказки о рыбаке и рыбке». Восхищенные дети потащили меня к воспитательнице. Лора умеет читать! Я, смущаясь, повторила чтение. Горгона посмотрела на меня ледяным взором и проронила: иди сопли вытри. Но позже мое умение все же оценили и научились использовать — я охотно читала детям вместо воспитательниц, они могли сидеть празднично, занимаясь сплетнями или вязанием, установилось некоторое равновесие, на меня смотрели без прежней злобы, я стала спокойнее и наконец привыкла. На последней детсадовской фотографии, где мне шесть лет, девочка в соломенной шляпке смотрит мрачно, не испуганно, как раньше, меня больше не рвало, вид суповых тарелок с зелеными елочками по краям вызывал только тошноту.

Кроме книг, из которых любимой в то время была «Солнце и его семья» — на обложке большое круглолицее Солнце удивленно взирало на мир из-за горизонта, оно не то садилось, не то вставало, а на круглой же поляне люди в остроконечных шапках занимались каждый своим делом, — много радости доставлял мне набор «Юный архитектор», с многочисленными деревянными колоннами и лесенками и картонными перилами и башенками. Я всегда любила строить, держать в руках чистенькие детали, составлять из них небольшие, легко обозримые дома. Быстро перепро-

бовав все предложенные в наборе варианты, я начинала придумывать собственные проекты, у меня получались фантастические здания, нелепые, полуготические, они казались прочными, но рушились от единственной лишней колонны. В нашем райцентре было одно здание, похожее на мои дворцы, — двухэтажный деревянный дом, чудом уцелевший в перипетиях истории, с портиком и балконами. Казалось, он тоже частично сделан из картона, однако в нем жили не маленькие человечки, исчезающие с первыми лучами солнца, а большие, настоящие люди, в том числе одна моя одноклассница и ее высокая, рыжая, пышноволосяя мать с персидской фамилией и где-то потерянным мужем. Вдоль этого дома имелся единственный в райцентре тротуар — неровно выструганный деревянный настил, доски которого упорно, неторопливо раздвигала крутая трава, ходить по нему босиком было опасно, не одну занозу приходилось потом выдавливать, вытаскивать, выковыривать иглой из грязной подошвы и смазывать пугающим, резко пахнущим йодом. Бульжная мостовая — таких улиц было две-три — больше грозила коленкам, невозможно было пробежать по гладким сизым камням и не споткнуться, ободранные колени ныли, папа приносил меня на руках домой, обмывал раны теплой водой, смазывал йодом и дул на них, и потом образовывались коричневые хрусткие корочки, которые так приятно было оттирать и находить под ними новую бледно-розовую кожу.

Папа охотно ходил со мной то в продмаг, то в аптеку, то просто пройтись, учил не шаркать, не чавкать и не горбиться, покупал мне сладкий кровавый гематоген и маленькие таблетки аскорбиновой кислоты. Иногда он останавливался поговорить со знакомыми, и как-то раз знакомый спросил меня: «А что твой папа делает дома?» — «Слушает приемник», — честно сказала я. Папа схватил меня за руку и быстро потащил вперед. «Ты хочешь, чтоб твоего папу посадили в тюрьму?» — прошипел он. Никогда еще я не видела его таким бледным и испуганным. Мы быстро пришли домой, папа шепотом рассказал всю историю маме, и оказалось, что про приемник никому говорить нельзя, за это сажают в тюрьму, надо было сказать: слушает рупор, и вообще никому нельзя рассказывать, о чем говорят и что делают дома, за это тоже сажают в тюрьму, хорошо еще, что тот знакомый тоже антисоветчик, как и папа, и вряд ли сообщит, а не то будет плохо. Несколько дней папа нервничал, курил и плохо спал, но антисоветчик явно либо ничего не понял, либо решил пока не сообщать, и постепенно мы успокоились. Принцип двойной жизни казался мне совершенно естественным. За стенами дома царила милуха (власть), со своими милухскими законами, которым приходилось подчиняться, но по-настоящему жить по этим законам было нельзя. В самом деле, разве можно было всерьез вступать в пионеры, надевать дурацкий галстук и произносить какую-то присягу или клятву? Разве можно было всерьез выслушивать по радио ежедневные бодрые сообщения об удоях и севообороте? Разве можно было верить лозунгам «Партия — наш рулевой!», портретам Хрущева или Суслова, доскам почета, газете «Клич Радзимы» (Зов Родины), рекламе камбалы или маргарина, памятнику Ленина? Но не было нужды и в душевном разладе. Весь этот гигантский спектакль оставался спектаклем, идущим постоянно уже десятки лет для милухи, а жизнь шла своим чередом. Надо было только их четко различать, и это было не так уж и трудно.

\* \* \*

Мгновения, которые необходимо остановить. Как грустно мне твое явленье, весна, весна, пора любви, наверное, думал папа, когда снег начинал исчезать, по земле под крышей громко барабанили крупные крепкие капли, и грачи прыгали, оглядыва-

ясь, по мокрому огороду — предстояло вспахать этот огород. Каждый день начинался и кончался руганью — мама требовала, чтоб папа позвал гося с конем, папа говорил: «Чепецах оп фун мир!» (Отцепись от меня!), он готов был ничего не сеять, покупать любой огурчик на базаре, вообще переехать в многоквартирный дом — их у нас было два-три, там жили приезжие, которым не удавалось получить дом с участком, и жребий их считался жалким — жить без огорода? Зависеть во всем от магазинов, где в лучшем случае давали полугнилую капусту, или покупать на базаре втридорога? Такая перспектива приводила маму в настоящее бешенство, ругань взвивалась кострами, как синие ночи в песне, папа не кричал, он брал книгу или уходил пройтись, но мама не успокаивалась, соседние участки из тоскливого пустыря уже превратились в аккуратные жирные грядки, а у нас земля ссыхалась, я чуть не плакала, предчувствуя унылое бесплодное лето, и в конце концов папа сдавался, покупал пол-литра и заходил к Петру напротив. Через день-другой высокий молчаливый мужик, говоря «тр-р-р», заводил во двор худого равнодушного коня, который первым делом задирает хвост и откладывает большую круглую кучу навоза. Вокруг коня вились первые мухи. Мама бегала туда-сюда с ведрами картошки, папа деловито осматривал лопату, я радостно путалась под ногами и всем мешала. Петро вразвалку шел за плугом, напевая: «Ой Лявон Лявонику палюбиу», земля рассыпалась, на ней медленно извивались потревоженные розовые черви, некоторых разрезало пополам острым плугом, но половинки продолжали так же медленно извиваться. Нужно было аккуратно втыкать холодные картофелины в борозду, из некоторых уже торчали нетерпеливые бледные остроконечные ростки, только и ждущие погружения в пышную влажную землю, чтоб рвануться вверх и вниз, изгибаясь и тычась. Конь помахивал длинным черным хвостом, размеренно шел вперед, послушно поворачивал в конце огорода и, казалось, тоже напевал про себя «Лявонику». Время от времени Петро останавливался покурить, папа вежливо осведомлялся: «Ну, как жена, дети?» — «Добра», — отвечал неразговорчивый гой. Мама бежала в дом проверить, готов ли обед. Земля пахла так, что хотелось ее поцеловать. Кот носился по огороду, прижимая уши и далеко отставляя огромный хвост, он ловил сухие веточки и прочий мусор, притворяясь, будто это мыши. «Вот здесь будут помидоры, а тут горох, капуста, морковка», — радостно говорила мама, словами создавая долгое, прекрасное лето, с дождями и жарой, туманами и комарами, множество дней, бесконечность, наполненную ростом, цветением, созревaniem каждого овоща в свое время, сбором урожая и едой. Папа тоже веселел, выпрямлялся и сам уже, наверное, не понимал, почему еще пару дней назад готов был отказаться от этой великолепной радости. К концу дня огород был вспахан, пол-литра выпито, борщ и тушеное мясо с картошкой съедены. Петро неторопливо уводил своего коня, которого я успела много раз погладить по крепчайшим мускулам, вдыхая крепчайший же запах навоза. Конь что-то жевал, поглядывая на меня без особого интереса, а я не могла оторваться — какие большие копыта! Уши! Зубы!! Ноздри!! А хвост! Спокойное покладистое животное, опутанное ремешками, привязанное к забору. Человеческая девочка, осторожно-дразняще прикасающаяся к нему. Конь не пугается, не злится, лишь едва заметно отстраняется, вернее, он не льнет к детской руке, как собака или кот, но все же прикосновение существа совершенно чужой породы ему не противно. До сих пор я не в состоянии это понять.

Весь день было — вот-вот пойдет дождь, воздух набухал, как почки на дереве, мягкие серые тучи медленно двигались, изредка пропуская светлые прямые лучи или маленькую круглую солнечную мордочку. Но нам повезло — дождь начался только ночью, когда каждая картофелина уже улеглась в своей норке на нужный для роста бок, и мы тоже давно спали и ничего не слышали. Дождь пошел дальше, утро

следующего дня было розовое и мокрое, пар вился над землей, мама осматривала помидорную рассаду. В доме царил мир. Огород был возделан.

У Петра была большая семья — семеро детей, они аккуратно появлялись на свет каждое лето и начинали расти, превращаясь из пищащего кулька в сопливого бестолкового младенца, в золотушного ребенка с печальными глазами, в смиренного, худенького, как уличный котенок, школьника или школьницу. Когда открылась музыкальная школа, Петро неожиданно записал в нее одного из своих мальчиков. Ему купили баян — на пианино денег не было, да и зачем? Мальчик — Колька? Федька? — немного научившись играть, выходил золотистыми летними вечерами на улицу, с трудом таща блестящий раскидистый инструмент. Мама не жалела насмешек: Петру тоже нужна музыка? Пусть бы хоть дом сначала обставил! В Петровом доме было пусто, да и домом назвать эту лачугу было трудно. Крыша протекала, дети спали на чем попало и не голодали только потому, что Петро работал возчиком на пекарне и привозил домой хлеб бесплатно. Возможно, баян семье подарили образованные родственники из Минска, которые раз в год приезжали в гости на своей машине, у Петра стоял пир горой, и Колька играл «Амурские волны». Поначалу баян его визжал, скрипел и неожиданно складывался со страшным шумом, мальчик покрывался потом, его рыжие глаза недоумевающе смотрели на упрямые неуклюжие пальцы. Однако постепенно звуки смягчились и выровнялись, тяжелое звучащее сооружение приладилось к груди и коленям маленького музыканта и, отдыхая между вальсами, нежно мурлыкало, отзываясь на ласковые поглаживания уже умелых рук. Вокруг Кольки стояли многочисленные братья и друзья, старшие сестры с гордостью утирали ему нос и поправляли воротник. «Ну, будет играть на свадьбах, — снисходительно говорила мама, — тоже заработает где рубль, где два! “Лявонику” играть мог бы и без школы научиться, как это они столько денег выбрасывают? Лучше бы забор починили!»

Как-то в особенно тихий, задумчивый, перед дождем, майский вечер, когда ласточки, сидя рядком на проводах, еще только прислушивались к происходящему в воздухе, на улице возникла мягкая, глубокая, как колодец, и так же слегка поблескивающая на свету мелодия. Она была мне знакома — я играла «Менуэт» Баха в прошедшем году, и учительница долго и не слишком успешно добивалась от меня выразительного, плавного движения звуков, нежного легато, наполненного влажным воздухом аккомпанемента. Все это звучало теперь на улице, исходя из крылатой черно-белой коробки, утыканной кнопками, за которой едва была видна светло-рыжая Колькина голова. Он играл, слегка прикрыв глаза и чуть-чуть улыбаясь, его пальцы двигались без усилия, рядом с ним никого не было, детям эта музыка была скучна. Колька раздвигал меха, и милая детская вещь неожиданно обретала мощь и глубину, и у меня что-то мучительно-счастливо холодело и сжималось внутри. Я закрыла глаза, и баян стал огромным, величиной с дом, сооружением, его складки превратились в гигантские трубы, его звучание заполнило собой весь мир, оно клубилось и развевалось, как серые серьезные тучи, за которыми одиноко и ровно сияло упругое гордое солнце. Внезапно наступила тишина. Колька осторожно поставил баян на лавочку и, согнувшись, как его отец, начал есть большой кусок черного хлеба. Я вернулась в дом, подошла к пианино. Нажала на клавишу. Красивый черный ящик, моя гордость и радость, мелко мяукнул. Вокруг лежали ноты — Шопен, Бетховен, Григ. Пусть на свадьбах. Да хоть на похоронах. Когда б вы знали, из какого сора. Неказистый пацан из дома напротив, где не было ни одной книги — даже учебники дети брали у приятелей, чтоб делать уроки, — знал и умел что-то такое, до чего мне за всю жизнь не добратся. Я только слышу, и все.



\* \* \*

Какой же это был урок? Истории? Нет, мы писали, кажется, была самостоятельная работа, делали какие-то упражнения, ручки поскрипывали, каждый был более-менее занят делом, склонившись над партой и не вертясь, и среди этого муравьиного шелеста и шороха возник странный нарастающий звук, похожий на сдавленный крик, на скрипучий вопль рассерженной двери, на мычание. Головы повернулись к источнику звука — Нина, наша одноклассница, сидевшая во втором ряду у окна, до отказа запрокинула голову с закатившимися глазами, руки ее растопырились и одеревенели в воздухе, и это из нее — не изо рта, а откуда-то из живота, из ног — вырывался страшный, никогда прежде не слыханный рев. Обомлевшие школьники оцепенело смотрели на то, что минутой раньше было крупной строгой девушкой с длинными блестящими косами, я с ней немного дружила, временами приходила в гости в ее просторный прохладный дом, где двигалась темная бабушка и иногда появлялся пьяненький отец — шутник и неплохой врач, но в какой-то момент я обиделась на вкрадчиво-оскорбительные, с антисемитским привкусом замечания: Нина все утро огород полола, кур кормила, а вы, наверно, кур в магазине покупаете — и перестала ходить. Сейчас, стиснутое неудобной партой, то, что было Ниной, дыбилось, корчилось и рычало. Прошла вечность, другая, еще одна, прежде чем неизвестно откуда взявшиеся серьезные люди осторожно извлекли из узких деревянных объятий парты уснувшее тело с заплаканным лицом и высунувшимся кончиком языка. Эпилепсия — испуганно шелестело название. Каким-то образом стало известно, что припадки бывали и раньше, что виной этому алкоголик-отец, который стал в результате пить еще больше, и что лечения нет. Дома я кое-как успокоилась и уснула после того, как папа дал мне таблетку адонис-брома, но ночью проснулась от странного беспокойства — казалось, что мои руки вот-вот скорчатся и оцепенеют, как у Нины. Я приподнялась на кровати и случайно взглянула на темное зеркало, висевшее напротив. Там витал смутный призрак, углы рта его вздрагивали, готовые искривиться и закричать. От ужаса я бросилась во двор, где было светлее и разумнее, руки мои не дергались, рот не кричал, но была какая-то дурная готовность — вот-вот это случится. Я пыталась рассуждать здраво. Эпилепсия (от одной мысли об этом слове что-то начинало корчиться внутри) не заразна, мой отец не алкоголик, в семье ничего такого нет. Судорожно сжатый ком где-то в недрах тела медленно округлился, была середина ночи, зажмурившись, чтоб не увидеть зеркало, хотя страшно, неестественно сильно хотелось этого, я пробралась в постель. Потом наконец настало утро.

Через две недели Нина вернулась в школу, дни шли, как всегда, и первоначальное заботливо-опасливое отношение к ней исчезло. Потом на уроке случился еще один припадок, теперь уже мы сами вытащили ее из-за парты и уложили на стол, и мне пришлось с силой прижимать к столу рвущуюся вверх ногу. Но к Фобосу и Деймосу моей души это уже ничего не прибавило — они прочно поселились где-то между ребрами, пуская отростки то в голову, то в пятки, утихая днем, разрастаясь к темноте, заставляя меня постоянно прислушиваться к моим рукам, ногам, языку. Родителям я ничего не говорила, так как не знала, как рассказать о том, что со мной происходит, и боялась их напугать. Интуитивно нащупав, что многократное повторение слов лишает их смысла и даже страшные вещи теряют свою угрожающую чешую, я старалась, как бы небрежно перелистывая словарь, мельком взглянуть на леденящее понятие и тут же прочесть другое, утешительно-нейтральное слово: эпицентр, эпохсия, эпоха. С зеркалами справиться было труднее. Они попадались мне на глаза в самых неожиданных местах — в зеркало превращались окна домов и машин, лужи, гладкая

поверхность стола, бок кастрюли, Фобос порывался своими ледяными щупальцами вывихнуть мне руки или смять лицо, меня тянуло посмотреть на отражение, как тянет в омут желającego утонуть, и нужно было величайшее усилие воли, чтоб быстро отвернуться, крепко зажмуриться и ждать, пока ливень желтых и синих искр в глазах не смоет темные очертания ненароком увиденного фантома. На фотографии той поры коротко остриженная встревоженная девочка смотрит куда-то вбок — чтоб не взглянуть на объектив или в глаза фотографа. Борьба с душевным сдвигом отнимала много сил и времени, стена, и до того стоявшая между мной и людьми, росла и толстела, иногда я ощущала себя какой-то плоской тенью и думала, что Нина, в промежутках между припадками веселая и цветущая, явно меньше переживает по поводу своей болезни, чем я.

Время, однако, делало свое дело. Через несколько месяцев почти ежедневное перелистывание словаря уже оставляло меня равнодушной. Статья о болезни в «Справочнике практического врача» — толстой, солидной темно-коричневой книге, внушающей уважение и надежду, несмотря на нередко встречающийся летальный исход — прочитывалась без перерыва, не отводя глаз. Последним испытанием стал увиденный мной в Минске на улице припадок, случившийся с белокрысым незнакомым мужиком и забытый через полчаса. Нина же научилась как-то с утра улавливать ветерок надвигающегося приступа и в такой день оставалась дома, избавляя класс от потрясения. Окончив школу, она поступила в медицинский институт, вышла замуж и родила раньше всех своих ровесниц, и говорили, что это ее излечило окончательно. Что произошло с ней и с ее семьей за последующее тридцатилетие, мне неизвестно.

\* \* \*

Все годы учебы в институте я ощущала себя бездомной и мечтала как-нибудь опять прожить дома целый год, все четыре его времени, все недели, понедельник и четверги. Мне не хватало неба, не заслоненного высокими зданиями, солнца, укладывающегося спать в соседнем саду, вместо расхлябанной асфальтово-снежной слякоти моим ногам хотелось хлопнуть по липкой густой грязи, до гула в ушах недоставало медовой деревенской тишины. Гораздо позже, уже оставив не только дом, но и страну, я часто мысленно гуляла по улицам райцентра, четко видела дома, деревья, лавочки, толстых баб в огромных бахромчатых коричневых платках на лавочках, тупо и враждебно глядящих на редких прохожих, цветущие вишни, сонм озабоченных пчел вокруг пышной пены цветков, которые, едва дыша, только слабо вздрагивают, когда пчела решительно вцепляется в мягкую щетинку посредине. За несколько дней до папиной смерти вместо привычной картины я вдруг увидела пепелище. Прошли еще времена, и деревья, небо и дома, как поросль после пожара, опять появились на колышущихся островах памяти и воображения, и вслед за ними возникли слова. Больше всего я любила приезжать домой поздно вечером, сойти с автобуса на безмолвной станции и, проводив взглядом сонных нахлобученных спутников, медленно двинуться к дому, минуя черный клуб и стадион при нем, стараясь не разбудить чуткого пса в каждом дворе, вдыхая густой, темный, сказочный воздух, и от первого же вдоха начинали развязываться тугие узлы в душе, рассыпались острые камешки в плечах и спине, губы вспоминали простую веселую улыбку, и вот я уже подхожу к нашему маленькому серому дому, родители спят, поздно, жалко будить, я сажусь на лавочку, подожду немножко, может, один из них сам проснется, тогда и постучу, но в меня вонзаются писк и жало комаров, делать нечего, я стучу в дверь,

сонно-встревоженное: «Кто там?» — «Я!» Ой, гвалт! Лорочка! Стук ног, суета, поспешное накидывание чего-нибудь, вспыхивают свет и радость, кушать будешь? Я сую им сыр, колбасу, чернослив, они приносят соленые огурцы, маринованные грибы, кипятят чай, как там Ася? А как вы тут? Дом до потолка заполнен теплом любви и преданности, его можно взять в руку, оно мягкое, как хорошая фланель, вот оно уже и на дворе, и кусты и деревья за окнами светлеют и светятся. Я ложусь в постель, я снова забыла чистый льняной запах наших простынь, вот уже опять тихо, мы все счастливо вздыхаем, мы вместе, я дома, мне десять лет.

\* \* \*

Заботясь о моем здоровье и развитии, папа научил меня плавать, кататься на лыжах, на коньках, ездить на велосипеде. Я даже играла в баскетбол, несмотря на малый рост, мне нравилось ловить тяжелый, солидный мяч и мчаться, хлопками заставляя его скакать вперед. Забрасывать мяч в кольцо удавалось редко, тут уж природа шутя ставила меня на место, и я с сожалением бросала мяч дылдам. Но волейбол оставался моим врагом. На переменках в хорошую погоду все девочки выбегали во двор тасоваться — так на нашем диалекте называлось пасоваться, перебрасывать мяч, стоя в кругу. Я никак не могла научиться подхватывать мяч на вытянутые кончики пальцев и тут же легким толчком передавать его напарнице. Мяч злобно норовил броситься мне в лицо, пролететь мимо, едва коснувшись умоляющих рук, а в тех редких случаях, когда он все же попадал мне на пальцы, ответный мой толчок получался слабым и неуклюжим, и легкий мячик летел, куда ему вздумается, а отнюдь не по моей воле. Красная, вспотевшая, со сбившимся набок бантом и перекрутившимися чулками, я убежала в светлую тишину пустого класса, и чуткая старшая книга уверенно говорила мне: ничего, не плачь, читай. Но потом надо было идти на урок физкультуры, и опять чуть ли не все орудия спортивных истязаний оказывались мне велики, особенно козел, невинная на вид, а на деле на редкость коварная конструкция, через которую надо было перепрыгивать, и как я ни старалась прыгнуть выше и дальше, козел, пока я летела к нему, успевал вырасти на пару сантиметров и подхватить меня на свои твердые отполированные бока. В какой-то момент мне начал сниться прекрасный, как музыка, сон: я разбегаюсь, чтоб прыгнуть в длину, и вдруг взлетаю, не очень быстро, но уверенно, и взлет этот оказывается таким легким и естественным, будто я всегда умела летать, только почему-то забыла, а теперь случайно получилось нужное движение, и вот я лечу, и никаких козлов. Сон этот не запоминался, но когда снился в следующий раз, я знала, что он мне уже снился, и это тоже было прекрасно, мой секрет даже от меня самой, и это тайное умение летать, данное мне не в словах, не на деле, а в каком-то неизмеримо глубоком ощущении, смягчало позор неудачных прыжков и позволяло смеяться над собственной неуклюжестью. Но некоторые виды спорта годились даже для лилипутов. Плавать в нашей речке, таинственное название которой перекликалось с моим именем и тем самым немножко примиряло меня с произвольной этикеткой, предназначавшейся не мне, а какой-нибудь высокой белокурой полнобокой даме, вертящей мужчин на ниточке, как я майских жуков, но никогда никого не отпускающей на волю, — плавать в речке было прохладным голубым счастьем. Маленькая, не слишком извилистая речушка старательно подражала большим — левый песчаный берег ее был пологим, а правый — крутым и мрачным, под ним водились омуты и водовороты. Как-то мы с Леной пошли купаться, и внезапно она ухнула в глубокий

холодный ил и захлебнулась. Голова ее с крепко сжатыми глазами и губами оказалась было над водой, но тут же исчезла, потом мелькнули руки, я нырнула с берега и увидела в мутной светлой воде барахтающееся тело. Одной рукой я схватила ее за длинные волосы, второй уцепилась за небольшой кустик на берегу, но тут мне показалось, что меня укусила собака — с такой силой утопающая сдавила мою ногу. От неожиданности я выпустила кустик из руки и сама провалилась в воду, мягкий ил с готовностью окутал меня с головы до пят, а Лена тянула еще глубже, в бездну. Напрягшись так, что в животе что-то хрустнуло, я опять дотянулась до кустика, который чуть не вырвался из земли, свободной ногой наконец нащупала какую-то опору и, дрожа, выкарабкалась на берег с русалкой на буксире. Оживлять ее, на мое счастье, не пришлось: она тут же очнулась и откашлялась и ничего не помнила.

На речку начинали ходить в середине лета, когда вода к полудню уже прогревалась. Долго готовились, собирали белье для стирки, еду в маленьких, ободранных изнутри эмалированных кастрюльках. В мои младенческие времена мама стирала на реке не только мелкие вещи, но и простыни и скатерти, она энергично и весело терла их на чахоточной стиральной доске с выпирающими ребрами, потом раскладывала сушиться на мягкой низкой траве, мыльная вода со множеством пузырьков быстро растворялась в свежем течении. Высыхающее полотно пропитывалось ароматом травы, жаром мелкого горячего песка, звоном жаворонков и кузнечиков, которых мне нравилось ловить; бесшумно приближаясь к замершему на вершине качающегося стебелька зеленому угловатому созданию, я как бы держала в ладонях небольшой шар, и в трепетный миг схватывания жертвы этот шар рассыпался, быстрый хлопок заключал ошеломленное насекомое в теплую густую тьму, я осторожно брала его пальцами за испуганное трепещущее брюшко и долго разглядывала бесконечные усики и лапки.

Папа научил меня плавать элементарным брассом, он и сам так плавал, не опуская голову в воду, обычно против течения, чтоб тренировать мышцы и чтоб не уносило далеко, его голова колыхалась на воде, не продвигаясь, а тела не было видно вообще, и Бог знает что мог подумать чужой человек. Меня же быстрое течение относило довольно далеко, и встревоженные родители тут же начинали меня окликать. Я вылезала на ясный, заросший незабудковой прелестью берег и медленно шла назад, мимо светящегося поля — пшеницы или ржи, так и не довелось узнать, но столько жара и ветра накапливали в себе за день плотные длинноусые злаки, что светились даже ночью. Несколько раз, повинуясь идиотским указаниям, на поле сажали кукурузу, но капризному кудрявому растению не нравилось песчаное место у реки, да и колхозный уход доставлял ему мало радости, и оно уступало пространство вечно голодным репейникам и разным другим ботаническим дворянкам. У нас на огороде кукуруза вымахивала метра на два, в конце августа можно было выламывать удивительные, завернутые в зеленые пленки удлиненные свертки с бородами зубастыми початками. За полем стояла труба маслозавода, но ни масла, ни сыра местные жители никогда в глаза не видели: вся продукция якобы отправлялась в ГДР, а за маслозаводом едва виднелся лес, куда мама осенью ходила по грибы, но меня никогда не брала, возвращалась поздно вечером с полными ведрами отборных грибов, долго мыла их у колодца, потом варила и мариновала, напевая про себя: «Ой, полным-полна коробушка...»; в лесу я бывала только на мерзких коллективных мероприятиях, где из-за общего гвалта ничего невозможно было ни увидеть, не услышать. Так и остался лес необжитым мною, и ничего не могу я о нем рассказать.

Зимой речка быстро замерзала, берега заметало снегом, и на уроках физкультуры мы ходили туда кататься на лыжах. Этот вид спорта был ко мне более дружелюбно настроен, лыжи можно было подобрать по размеру, и я охотно махала длинными

палками и шаркала узкими деревяшками. Деревья на берегах не росли, все было ровно и бело, и если в ясный день речка, обрамленная сверкающим снегом, казалась безмятежной спящей красавицей, то в пасмурную погоду в глаза бросались редкие оцепенелые кустики, по единственному мосту изредка с грохотом проносился хищный самосвал-горыныч, оставляя грязные рубчатые следы, вороны низко прыгали, громко, скрипуче каркая, в воздухе стоял далекий сдавленный вой. Была в этой маленькой воде, как и во всех водах, какая-то тайная злая суть, и однажды весной, когда стаял снег, но до летнего золота было еще далеко, из реки выловили тело изнасилованной и убитой пятнадцатилетней Валентины, красивой девочки с короткими косичками и веселыми быстрыми глазами, которая пошла на танцы за несколько дней до того и не вернулась домой. Призрак ее все лето неслышно парил над рекой, охваченные страхом родители держали дочерей под замком, убийц так и не нашли.

У эскимосов, говорят, есть двадцать разных названий для снега: снег, только что выпавший, снег ночной, снег, подходящий для охоты... Если бы языки Земли слились в одно наречие, сохранив все свои слова, снег можно было бы называть сотнями различных имен, но все равно остались бы не описанные никем состояния, которые каждый зимний день представляли передо мной на нашем огороде, где я часами каталась на лыжах в чудесном одиночестве. Могу ли я рассказать о нем на одном русском языке, где есть разве что снег, пороша да поземка? Блестящее розовое покрывало с голубоватыми тенями в ликующий солнечный день; скорбный белый саван, объятый торжественным органным безмолвием, в пасмурные сумерки; подтаявший, слипшийся, бестолковый и несчастный, как мокрая собака, — в оттепель; самозабвенно и бесконечно падающий крупными лохматыми хлопьями или несущийся по диагонали, злой, мелкий, мстительный — в феврале, который недаром побелорусски называется люты, небо исчезло, снег метет из глубин мироздания, мело, мело по всей земле, ни весны, ни лета, ни даже осени больше никогда не будет. Но время несет и снег, и планету, и весну, и я выхожу в толстой теплой розовой кофте на успокоившееся невозмутимое поле, кое-где тронутое кошачьими и птичьими следами, и каждый вдох наполняет меня ледяными шестиугольниками замерзающего предзакатного воздуха.

Может быть, эскимосу для всего этого хватило бы пяти слов.

А теперь — на велосипед! Помчимся вперед, весело вертя педали, по мягкой пыли, легко увертываясь от встречных прохожих или собак, повесим на руль машины сумку с полотенцем, и поедем на речку, и не успеем заметить тупые взгляды баб, степенно сидящих на лавочках, не успеем услышать, какую гадость скажет, стоя у калитки и куря «Беломор», Солдатка — опрятная деловитая бабенка в гимнастерке и сапогах — и в портянках? Она стоит, вывалив поверх калитки плотно обтянутую зеленую грудь, и смачно матерится по любому поводу, вокруг нее зевают и потягиваются широколицые бордовые мальвы. С шелестящим вжиком обгоним вздрогнувшего попа по фамилии Жидок — как? почему? — под важной рясой у него надеты смиренные черные брюки, во глубине ничьего незасеянного огорода стоит невысокая серая избушка, туда по воскресеньям пробираются меж добродушных лопухов низенькие черные козявочки-старушки, там всегда елка — мерцают червонные иконы, мигают лампадки, горит, горит чья-то звезда.

Таким представилось мне радостное будущее, когда папа ввел во двор гибкую блестящую «ласточку». Сам он уже давно ездил на велосипеде и по делам, и ради упражнения и свежего воздуха, и дело казалось совсем нехитрым. Но «ласточка», готовая, как орленок, взлететь выше солнца, не могла приспособиться к моим коротким ногам, из которых только одна в каждый данный момент едва доставала до педали. Все же я наловчилась ездить — то стоя, то переваливаясь на седле, но чтоб слезть, надо было подъехать к забору и уцепиться за него рукой, иначе приходилось

спрыгивать на ходу, рискуя упасть. Иногда я наезжала на людей или на столбы, но все обходилось, и радость быстрой езды, свистящий ветер в волосах, невесомость скольжения были моими, и пространство ластилось ко мне.

Августовский паутинный день лениво плелся куда-то, останавливаясь у каждого плетня, чтоб задрать бледно-розовую неряшливую юбочку бабьего лета. Я выехала за райцентр на Гровейку, усыпанное гравием большое шоссе, ведущее чуть ли не в город. От частой езды мои ноги вроде бы удлинлись, можно было ехать сидя, Ласточка мерно шуршала по мелкому щебню, все хорошо, да? Терпение и труд... Но к шуршанию резиновых крыл вдруг примешивается чужое гудение, усиливающееся с каждой секундой, вот наказание — за мной едет грузовик, все ближе и ближе, уже не гудение, а грохот, он раздавит меня, как муху, нет, обгонит, нет, он едет прямо за мной, оглянуться? нет, нельзя, справа насыпь, надо ехать прямо, он обгонит, а если я нечаянно поверну руль влево? почему это я вдруг поверну руль влево, зачем? нечаянно, нет, надо остановиться, но как, ни забора, ни столба, чуть левее — и прямо под страшные колеса, ноги опять стали короче, не достаю до педалей вообще, ни одной ногой, вырваться, удрать, как угодно... рывок вправо — и я лечу вместе с велосипедом с насыпи, куда-то вниз, по щебню и колючкам, высоко наверху пролетает дракон о семи головах.

Я осталась цела, у велосипеда было вывихнуто седло.

Через полжизни и полмира я научилась водить машину, которая, естественно, была размера на три больше, чем надо. Длиннейший зеленый «кадиллак» был послушен, как хорошо выдрессированный пони, чувал любое прикосновение, чуть ли не угадывал мысли. Я еду по неширокой дороге внутри колледжа, у моего сына там летний лагерь, машина спокойно катится вперед, все хорошо, да? — но вдруг — на этот раз справа — возникает бегун, он трудолюбиво работает локтями и коленями, он в полосатой майке, и паника мгновенно перечеркивает мне все прямые линии и углы мышления. Надо чуть-чуть взять влево, чтоб обогнать бегущего, но я начинаю метаться, как кот, нечаянно забежавший в чужой дом, руки мои цепенеют, и машина медленно подъезжает к человеку. Влево, влево, молча кричу я, влево, беззвучно кричит отчаявшийся муж, сидящий рядом, я хочу, чтоб этот велосипедист исчез, прыгнул в сторону, я ничего не могу, откуда он взялся, вокруг ни души, я его задавлю, еще секунда... Машина, кажется, сама едва заметно меняет курс и бесшумно проезжает в сантиметре от полосатого рукава бегуна, который только теперь замечает происходящее, отшатывается и разевает рот: вы что, психи? Но мы уже остановились, я уступаю место мужу, руки дрожат. Я опять упала с насыпи, и где-то высоко победоносно грохочет дракон о семи головах и хихикают девчонки с мячом, прыгая по козлу.

\* \* \*

По дороге на речку или домой иногда нас застигала гроза, внезапно обрушивающаяся на задремавшие деревья и поля. Несколько коротких минут затишья, чтобы острохвостые ласточки могли пронестись низким вихрем, почти касаясь земли нарядной черно-белой манишкой; несколько крупных пробных капель, взметающих притихшую пыль; и если не успеешь добежать до какого-нибудь гумна или сарая — небесный громовержец опрокидывает на тебя бочку за бочкой тепловатой вкусной воды, гром радостно-кровожадно урчит за темными набухшими тучами, воинственные молнии рыщут в поисках громоотвода, и страшно, очень страшно маленьким человечкам даже дома, за крепко закрытыми окнами. Но обычно, напугав всю округу, довольный громовержец отъезжает, между вспышкой и затихающим урчанием

проходит все больше мгновений, ливень слабеет, солнце украдкой просовывает яркий теплый луч — можно войти? и все зеленые существа, встрепанные, веселые, распускают листья и лепестки и разбрызгивают изумительные, никогда еще не чуждые ароматы, запахи счастья и жизни.

Боялись грозы, боялись пожара, но редкие пожары чаще всего вспыхивали из-за керогаза. Этот давно исчезнувший из моей жизни прибор требовал к себе много внимания и заботы, как, впрочем, и его маленькая изящная родственница — керосиновая лампа, очаровательное создание, умеющее наполнять дом мягким волшебным светом и помещать на стенах и потолке большие таинственные трепещущие тени. Лампу зажигали в сенях, чтоб не напускать копоти, долго и тщательно возились с фитилем, стеклом и наконец торжественно, чуть ли не с глашатаями и всадниками, вносили на руках в комнату, робко и терпеливо ожидающую чуда. Ставили на стол, который сразу преображался, теплый желтый свет превращал даже крошки на скатерти в олицетворение вечного, неколебимого уюта. На неяркий свет можно было смотреть, он жил, трепетал, двигался. Зимними вечерами, когда родители рано ложились спать, лампу ставили на печку, где я устраивалась с котом и книжкой, там пахло сухой луковой шелухой, горячими кирпичами, в трубе задумчиво гудело и размышляло. В 1956 году на нашу улицу наконец провели электричество, папа был очень рад, мама же ненавидела новшества и долго не хотела включать голый, неподвижный свет. К счастью, с электричеством часто бывали перебои, и не раз еще приходилось зажигать старую любимую керосиновую лампу и радостно переживать привычное счастливое волнение; но постепенно преимущества нового делали свое дело, удобство брало верх над красотой, а когда вокруг голопузой лампочки возник махровый оранжевый абажур, смягчивший невыносимо резкий свет и заливший комнату подобием ушедшего уюта, керосиновому светильнику окончательно пришлось уйти на покой и залечь где-то в сарае, где он медленно ржавел, тлел и мутнел.

Но керогазу еще долго предназначалось служить. Черный, неуклюжий, вонючий, как большой жук, он стоял в сенях, зимой, пока топили печь, впадая в спячку и оживая поздней весной, когда на нем впервые готовили суп. Неповоротливое устройство было явно недовольно насильственным пробуждением, оно ворчало, коптило, гасло и лишь после долгих уговоров и десятков обгоревших спичек соглашалось загореться красивым ядовито-синим жужжащим пламенем. Но адский прибор не забывал обиды, и время от времени, когда люди доверчиво начинали заниматься другими делами, керогаз внезапно с диким ревом вспыхивал, пламя устремлялось к хрупкому сухому потолку, и горе тому дому, где хозяева были слишком далеко и не могли тут же потушить огнедышащее жерло. Каждое лето случалось несколько пожаров, иногда погибали и люди, страшные покореженные балки долго потом торчали посреди черного искривленного сада.

Рядом с керогазом на широкой лавке в сенях стояло ведро с чистой холодной водой. Два-три раза в день, летом чаще, зимой реже, папа брал ведро и шел через улицу к пугающему глубиной и неясным блеском на дне колодцу. Надо было осторожно и крепко прицепить ведро к крюку журавля и, перебирая руками, настойчиво опускать длиннейшую жердь в горло колодезного сруба, нажимая на журавль так, чтоб ведро преодолело мягкое сопротивление воды и вверглось в ее толщу, сразу же тяжело осев; потом требовалось, медленно высвобождая журавль, не упустить момент, когда ведро с водой поравняется с верхом бетонного цилиндра, и снять его с крюка. Взрослые проделывали эту церемонию уверенно и спокойно, с кажущейся легкостью, трудно было заподозрить, какое требовалось умение, и когда мне наконец разрешили самой набрать воды, все принадлежности, такие послушные и ручные, вдруг буквально озверели, соревнуясь друг с другом, кто изощреннее будет надо

мною издеваться. Журавль взлетал вверх, ведро скакало, звонко хохоча, вода лилась на ноги, на руки, даже на голову. Покорные на вид вещи оказались совершенно дикими, они не признавали никаких правил, забыли все уроки, преподанные им другими людьми, вбитые в них другими ладонями и мускулами, они праздновали свободу, как угнетенные массы во время революции, мне приходилось учить их заново, втискивать в их гладкую поверхность свою волю и душу. О вещи, загадочные молчаливые создания, более таинственные, чем животные, тех, движущихся, постоянно меняющихся, легко понять, даже растения высказываются: пахнут, шелестят, растут. Но каждая вещь — сфинкс, лежащая неподвижно, придумывающая страшные загадки. Упасть? Разбиться? Исчезнуть? Укусить? Подставить подножку, чтоб наивный самоуверенный хозяин взлетел, нелепо взмахнул руками — и затих? Каждая вещь — бомба невидимого, ненавидящего террориста, наблюдающего за нами день и ночь, всегда на посту. Как доверчиво мы уходим спать, запираем двери и думаем, что все опасности остались за порогом, в то время как внутри стен злобно мечется молния, сдавленно рычат водопады и все без исключения камни рвутся на свободу, чтоб рухнуть с адским грохотом и отомстить нам наконец за свое бесконечное заточение.

Далеко же я ушла от колодца, а ведь вода в нем была достойна Гомера. Чистой, хрустальной, вкусом же не сравнимая ни с каким напитком, даже слегка пьянящая. Вода в то относительно не загрязненное время, в почти первозданно чистом месте была совсем иной, чем сейчас, в ней — во всяком случае, когда она уже становилась домашней, блестела в ведре — были растворены доброта, мягкость, участие, она была воистину живой, она мгновенно возвращала бодрость сонным глазам, неуклюже проливаясь из жестяного, одним своим видом набивающего оскомину умыльщика, в жару глоток влаги надолго и нежно охлаждал пересохшее русло глотки. Зимой папа иногда вносил в дом целый таз пухлого сверкающего снега, и дом мгновенно превращался в замок троллей, серебряный свет заливал всю комнату, там и сям поблескивали изумруды и рубины. Чудо быстро угасало, становилось серыми комками, потом водой, пропитанной космическим холодом, от нее еще долго дул ледяной ветерок.

\* \* \*

В девятом классе по разным, мало зависящим от меня причинам на семейном совете было решено, что после школы я буду поступать в Институт иностранных языков. Решение не вызвало у меня особого протеста: изучение языков мне нравилось, перспектива быть переводчиком или лингвистом воодушевляла, учительницей же я себя представить не могла и не хотела и была уверена, что этой незавидной участи удастся избежать. Папа, изучивший самостоятельно три европейских языка, время от времени начинал заниматься ими и со мной, у него были замечательные самоучители английского и французского, подаренные ему военнопленным офицером вермахта, который и обучил его этим языкам. Учебники представляли собой изданные в 20-х или 30-х годах небольшие серые книжки, где каждую новую фонему сопровождало изображение рта, раскрытого и изогнутого именно так, как необходимо для ее произношения. Такой метод преподавания языка больше нигде мне не встречался. Примерно десяток папиных уроков проходили на ура, я охотно изгибала губы и легко усваивала слова, потом мне начинало надоедать, папа, видя зевки и долгие взгляды в направлении какого-нибудь Майна Рида, не настаивал, и наступал долгий, иногда на несколько лет, перерыв.



Когда было принято решение поступать в ИнЯз, возник вопрос, на какой факультет. В школе нам преподавали немецкий, естественно было бы идти на соответствующий факультет, но преподавала язык мама, она же была у нас классным руководителем, чем доставляла мне массу подлинных и воображаемых проблем, и мое недовольство и протест распространились и на язык. Я решила заняться английским и за оставшиеся три года одолеть школьную программу.

Быстро пробежав материал прелестного самоучителя, я взяла новый, современный учебник, тоже, в сущности, самоучитель, с упражнениями, грамматикой и отрывками из подлинников, и начала его осваивать. Разбираться в грамматике мне не хотелось, я решила просто читать тексты и преодолевать непонятное с помощью словаря. Где-то странице на двадцатой бег по относительно ровной местности вдруг превратился в запыхавшееся взбирание по поросшему ежевикой и чертополохом холму. Формы неправильных глаголов были так же не похожи на инфинитив, как гусеница не похожа на бабочку и наоборот. Приставки, превратившиеся в предлоги, на каждом шагу устраивали засаду. Соблази плюнуть и вернуться к привычному и понятному, почти как русский, немецкому был велик, но какое-то непонятное мне самой упорство заставляло меня снова и снова брать тяжелую, осточертевшую книгу и вгрызаться в чужую речь. И в какой-то момент в густом колючем кустарнике начали появляться просветы, между отдельными звеньями знания возникали связи, неродной язык постепенно поддавался.

К концу школы я свободно читала по-английски и могла вести несложный разговор, и сдать приемный экзамен по английскому языку оказалось легче легкого.

В конце августа нужно было уезжать на учебу. С несколькими сумками я сидела в автобусе, ожидая отъезда, а родители стояли за окном, глядя на меня, как мне показалось, с некоторым нетерпением. Я высунулась в окно. Я не плакала, но на душе было смутно. «Живи своей жизнью!» — вдруг сказала мама. Я ничего не поняла — а какой же еще жизнью можно жить? Хотела спросить, но в это время водитель завел мотор, и автобус стал медленно разворачиваться. Родители, махая руками, оставались все дальше, пока не исчезли совсем. Автобус поехал по улице, и я увидела, как они, не оглядываясь и о чем-то говоря, идут домой.